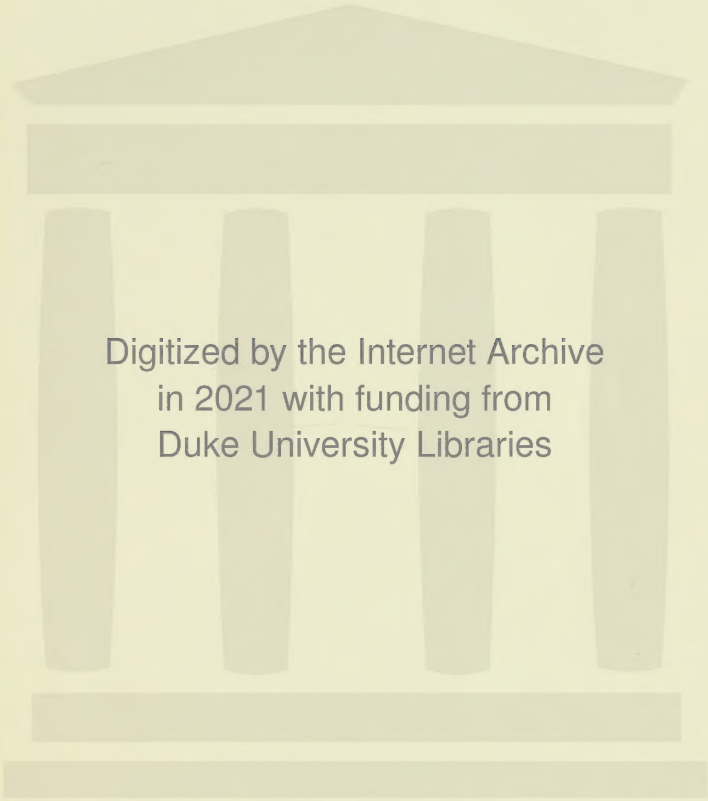
DUKE
UNIVERSITY

LIBRARY


Digitized by the Internet Archive
in 2021 with funding from
Duke University Libraries

https://archive.org/details/velikiiperevorot11luna

Lunacharskii Bibl.

А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ

ВЕЛИКИЙ ПЕРЕВОРОТ

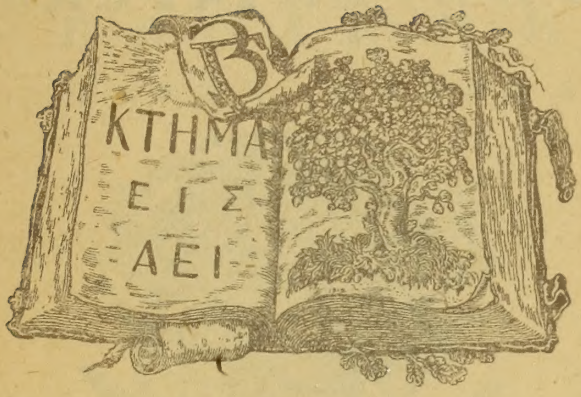
(ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ИЗД. З. И. ГРЖЕБИНА.

ПЕТЕРБУРГ.

1919.


Β
ΚΤΗΜΑ
ΕΙΣ
ΑΕΙ

ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮЦИИ

А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ

ИЗД. Э. И. ГРЖЕБИНА.
ПЕТЕРБУРГ.
1919.

А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ

ВЕЛИКИЙ ПЕРЕВОРОТ

(ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ИЗД. З. И. ГРЖЕБИНА.
ПЕТЕРБУРГ.
1919.

947.093
L961V
ch.1

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

* *
*

В воспоминаниях, которые я сейчас начинаю излагать, я имею в виду сосредоточить свое внимание исключительно на событиях великого переворота, начиная с мая 1917 года, когда я выехал в революционную Россию из Швейцарии, и кончая тем днем, в который я положу перо и напишу слово—конец.

За этот промежуток времени я пережил чрезвычайно много событий, как личного, так и общественного характера, не связанных, однако, прямо с великим переворотом.

Весь этот материал, который займет очень видное положение в моих личных мемуарах, в моей автобиографии, которую мне хотелось бы написать, здесь оставляется в стороне. Однако, я не могу не сделать известного введения к изложению моего непосредственного опыта, как очевидца и отчасти участника великой драмы.

Необходимо познакомить читателя,—так как я, старый работник нашей партии, могу это сделать—с главными действующими лицами великой русской революции. Мне хочется охарактеризовать моих друзей и товарищей, которых история выдвинула на первый план, я нахожу также, что необходимо, хотя бы кратко, познакомить читателя с прошлым нашей партии.

Для того, однако, чтобы и в этой части не превращаться в историка и обозревателя, а остаться очевидцем,

записывающим мемуары—я и эту историю партии буду излагать только как результат моих личных наблюдений, так как продолжительность их и достаточная близость моя к партии делает почти полным совпадение между всем об'емом ее истории и той ее частью, которая проходила при прямом или косвенном моем участии.

■ ■ ■

МОЕ ПАРТИЙНОЕ ПРОШЛОЕ.

Социал-демократом я стал очень рано. Можно сказать, что мое революционное самосознание сразу определилось, как более или менее марксистское. Революционером же я стал так рано, что не могу даже припомнить, когда я им не был. Детство мое прошло под сильным влиянием Александра Ивановича Антонова, который, хотя и был действительным статским советником и занимал пост управляющего контрольной палатой в Н.-Новгороде, а потом в Курске—был радикалом и нисколько не скрывал своих симпатий к левым устремлениям.

Совсем крошечным мальчиком я сиживал, свернувшись клубком, в кресле до относительно позднего часа ночи, слушая, как Александр Иванович читал моей матери «Отечественные Записки» и «Русскую Мысль».

Мальчик я был способный и уже тогда комментарии, которыми он сопровождал чтение сатир Щедрина или другого какого-нибудь подходящего материала, западали мне в душу.

В моих разговорах с сверстниками я еще ребенком выступал, как яростный противник религии и монархии.

Я помню, как забравшись к серебрянику, жившему в нашем дворе, я, в то время 7-летний мальчик, схватил небольшую иконку, не помню какого святого, и, стуча ею по столу перед разинувшими рот обедавшими в то время подмастерьями серебряника, самым заносчивым образом кричал, что предоставляю богу разразить меня за такое оскорбительное отношение к его приближенному и что считаю отсутствие непосредственной кары за мою дерзость явным доказательством несуществования самого бога.

Несмотря на то, что я был «барский сын»—серебряник ухватил меня за ухо и потащил к матери, совершенно возмущенный и испуганный таким поведением, которое чуть было не навело его на мысль, что я не кто иной, как маленький антихрист. Матери стоило некоторого труда успокоить серебряника, хотя и она, и Александр Иванович Антонов, в доме которого мы в то время жили, отнеслись к этому не только добродушно, но даже с юмором, не лишенным оттенка одобрения.

Бывали не менее комические случаи с пропагандой против абсолютизма. Но все эти детские подражания и выходки, навеянные революционными и полуреволюционными разговорами в моей семье, являлись только фоном, на котором позднее стал вырисовываться узор моих ранних, но твердых и закрепившихся на всю жизнь политических убеждений.

В 4-м классе гимназии я уже был руководителем целой группы товарищей, более или менее определенно проникнутых революционными тенденциями.

В это время я весьма пренебрежительно относился к гимназической программе, считая гимназию и все исходящее из нее тлетворным началом и негодной попыткой царского правительства овладеть моей душой и наполнить ее вредным для меня содержанием, так что учителя считали меня мальчиком способным, но ленивым. Между тем, я с колоссальным прилежанием учился сам, и к многочисленным урокам новых языков, музыки и усердному чтению классиков русской беллетристики присоединил серьезнейшее занятие, например, Логикой Милля и «Капиталом» Маркса. Первый том «Капитала» именно в это время, в 4-м классе гимназии, был мною проштудирован вдоль и поперек. Хотя он и позднее мною был неоднократно перечитан, но основное знакомство с ним получил я именно в 13 лет, как это, может быть, ни покажется странным, и сейчас, когда мне нужно припомнить что-нибудь из великой книги, или процитировать ее—я, беря в руки том, живо припоминаю тот клеенчатый диван, на котором я обыкновенно сидел перед лампой, жуя что-нибудь и перечитывая по 2, по 3 раза каждую главу, испещряя ее целой системой изобретенных мною пометок синим и красным карандашом.

Начиная с 5-го класса началась для меня в политическом отношении новая жизнь. К этому времени уже и среди Киевского студенчества проявилось социал-демократическое движение и об'явился контур первой организации, сыгравшей некоторую роль при созыве так называемого Первого Партийного С'езда.

Партийные товарищи припомнят, да об этом отчасти свидетельствует «История социал-демократии» Лядова, что Киевское об'единение сыграло довольно видную роль в этом первом акте собирания нашей партии.

Товарищи Тучапский, Петрусевич, Спилиоти, тов. В. Г. Крыжановская и некоторые другие, среди них—отмечу—много поляков, являлись более или менее пионерами этой студенческой дружины.

Мы, гимназисты и реалисты, имели, конечно, косвенную связь со студентами, но, по правде сказать, развились самостоятельно и, пожалуй, более бурно и более широко.

Вначале я стоял в стороне от этого гимназического движения. Первый строго выдержанный кружок марксистов включал в себя целый ряд лиц, имена которых так или иначе прославились потом, или, по крайней мере, стали известными. Руководящую роль играли, пожалуй, два выдающихся поляка, из которых один погиб потом при очень трагических обстоятельствах (Адам Робчевский), а другой играл видную роль в социал-демократических кружках юга (Иосиф Машинский). К кружку принадлежали также чрезвычайно талантливый тов. Логинский, тов. Шен, Вержбицкий, Вайнштейн, Плющ, Неточаев, в большинстве случаев многие годы работавшие позднее в социал-демократической партии, иногда с значительным успехом. Были, конечно, и такие, которые позднее отошли. Игорь Кистяковский был также деятельным и влиятельным членом этого круга лиц. К ним же относились Н. Бердяев и некоторые другие.

Я был как раз учеником пятого класса, когда ко мне обратились из этого молодого центра с просьбой организовать филиальный кружок в моем классе. Очень скоро у нас окрепла организация, охватившая все гимназии, реальные училища и часть женских учебных заведений. Я не могу точно припомнить, сколько у нас было членов, но их было во всяком случае не менее 200. Шли деятельные кружковые занятия, где рядом с Писаревым, Добро-

любовым, Миртовым, зачастую также изучением Дарвина, Спенсера, или занятия политической экономией по книгам Чупрова и по нелегальной литературе социал-демократического характера.

К нелегальной литературе мы относились с благоговением, придавая ей особое значение, и ни от кого не было скрыто, что кружки наши являются подготовительной ступенью для партийной политической работы.

Мы устраивали также митинги, большею частью за Днепром, куда отправлялись на лодках. Поездки на лодках на всю ночь были любимым способом общения и, я бы сказал, политической работы для всей этой зеленой молодежи.

Заключались тесные дружбы, бывали случаи романтической любви, и я и сейчас с громадным наслаждением вспоминаю мою юность и до сих пор многие имена вызывают во мне теплое чувство, хотя многие из моих тогдашних друзей отошли или от жизни вообще, или от жизни политической.

Настоящую политическую работу я начал в 7 классе, 17 лет от роду. Я вступил тогда в партийную организацию, работавшую среди ремесленников и пролетариев железнодорожного депо в так называемой «Соломинке», в предместьи Киева. Главным руководителем этой организации был мой друг, ученик того же класса и той же первой гимназии Д. Неточаев. Но роль наиболее красноречивого агитатора и наиболее разносторонне образованного пропагандиста перешла тотчас же ко мне.

Занятия мои с рабочими «Соломинки» продолжались не очень долго, так как вскоре после этого организация наша была потрепана полицией, а затем наступила необходимость от'езда за границу.

Тем не менее, я считаю именно эту дату, т. е. 92 или, может быть, 93 г., датой моего вступления в партию, так что в настоящее время я насчитываю 25-летний стаж политической работы в собственном смысле слова, т. е. в качестве агитатора-пропагандиста. В то же время дал я первые статьи в гектографскую социал-демократическую газету.

Умственным центром тогдашней социал-демократической жизни была проживавшая за границей группа

«Освобождение труда», состоявшая из Плеханова, Аксельрода, Веры Засулич и Дейча. Их нелегальные работы являлись существенной пищей для нас — неофитов марксизма.

К концу, однако, моего пребывания в гимназии появился уже и чисто русский марксизм с попытками найти легальное выражение.

Колоссальное впечатление произвело на нас появление первой книги П. Струве. В Киеве она была вся распродана в кратчайший срок. Мы изучали ее в кружках и принимали без большого спора многие ее, на деле рискованные, положения.

Деятельность Струве и Туган-Барановского происходила, главным образом, в Москве и Петербурге, но волнения, вызванные дискуссией в вольно-экономическом обществе и защитой диссертации Туган-Барановского в Москве, доходили и до нас.

Я должен сказать, однако, что лично меня рядом с революционной практикой, интересовала не столько политическая экономия или даже социология марксизма, сколько его философия. И здесь идеи мои не были абсолютно чисты. В последних классах гимназии я сильно увлекался Спенсером и пытался создать эмульсию из Спенсера и Маркса. Это, конечно, не очень то мне удавалось, но я чувствовал, что необходимо подвести некоторый серьезный позитивный философский фундамент под здание Маркса. Мне было ясно также, что фундамент этот должен находиться в соответствии с теми немногими, но гениальными положениями, которые установлены самим Марксом в его, скудном страницами, но богатом содержанием, философском наследии.

Знакомство с доктором философии Бернского университета Новиковым, много рассказывавшим мне о Цюрихском профессоре Авенариусе, и чтение, по его указанию, сочинений Лесевича, посвященных этому философу, вызвали во мне живейший интерес к эмпириокритицизму. Вот почему ко времени окончания гимназии у меня твердо установился план победить во что бы то ни стало сопротивление семьи и, устранившись от продолжения моего образования в русском университете, уехать в Цюрих, чтобы стать учеником Аксельрода, с одной стороны

(к нему я имел хорошие рекомендательные письма), Авенариуса—с другой. Кстати, в виду моей довольно явной политической неблагонадежности, педагогический совет Киевской первой гимназии, выдавая мне аттестат зрелости (далеко не блестящий вообще), поставил там 4 по поведению, что ставило большие затруднения при поступлении в русский университет.

Эти затруднения я еще преувеличил в глазах моей матери и, обещав ей возвращаться в Россию на все каникулы, выхлопотал для себя право отправиться за границу.

Занятия мои в Цюрихском университете, продолжавшиеся менее года, были очень плодотворны; более или менее благотворно действовала уже сама жизнь за границей, богатство цюрихской библиотеки, широкие рессурсы цюрихского университета и интеллектуально высокая среда тогдашнего нашего русского студенчества в Цюрихе.

Больше всего я, конечно, почерпнул от тех людей, использование которых входило в мой план. Вообще, в эти годы (мне было тогда 19 лет) я чувствовал себя совершенно самостоятельным и слышать ничего не хотел о прохождении курсов, согласно одобренным программам.

Я завалил себя книгами по философии, по истории, социологии и сам составил себе программу, комбинируя философское отделение факультета естественных наук, его натуралистическое отделение и некоторые лекции юридического факультета и даже цюрихского политехникума.

Важнейшими курсами в этой моей программе явились: анатомия у Мартина, физиология у Гауле, особенно физиология ощущений у Влассака, политическая экономия у Платтана.

Но, разумеется, все отступало на задний план, в смысле моих университетских занятий, перед работами у Авенариуса. У него я слушал курс психологии, по которому я вел записки и участвовал в обоих семинариях: философском и специальном по изучению био-психологии, т. е. его великого сочинения «Критики чистого опыта». Занятия под руководством Авенариуса, несмотря на свою относительную непродолжительность и большие трудности, которые я встречал в том обстоятельстве, что, совершенно

свободно читая и понимая немецкий язык, я плохо практически владел им—оставили глубокий след на всю мою жизнь. Я и сейчас еще в эстетике остаюсь в большей мере учеником Авенариуса, чем какого-нибудь другого мыслителя.

Мне казалось, кажется и теперь, что я привел в полное согласие этот наиболее последовательный и чистый вид позитивизма с философскими предпосылками Маркса. С этим, однако, не очень-то соглашался мой непосредственный учитель в области марксизма П. Б. Аксельрод. Аксельрод был первый очень крупный марксистский мыслитель, с которым я встретился на своем веку.

В то время он жил со своей довольно многочисленной семьей очень скромно, зарабатывая свое существование небольшим кефирным заведением и вечно возился со своими бутылками. Больной, страдающий мучительными бессонницами, от которых он лечился гипнозом у Фореля, Павел Борисович, располагал сравнительно ничтожным количеством времени для своих кабинетных занятий. Писал он мало, туго и мучительно, говорил несколько скучновато, но чрезвычайно содержательно. Делом моего просвещения он очень увлекался. Мы сделались с ним большими друзьями, и я стал своим человеком в семье. Позднее он, полушутя, признавался мне, что у него была идея выдать за меня замуж свою дочь. Да и так он был настоящим моим духовным отцом. Он часто отодвигал всякие свои другие дела, чтобы побольше беседовать со мной. Поощряя мои литературные опыты, он внимательно вслушивался в мои рефераты в кружках молодежи, хотя и подвергал их порой весьма суровой критике. Главным образом, он ополчился на мои спенсерианские воззрения на общество, как последовательно эволюционизирующий организм. Здесь Аксельроду очень скоро удалось разбить эти мои предрассудки и очистить мое марксистское миросозерцание.

Не то было с Авенариусом. В области философии я держался крепко и продолжал думать, что эмпирио-критицизм является самой лучшей лестницей к твердыням, воздвигнутым Марксом.

Вскоре после моего переезда в Цюрих посетил его Г. В. Плеханов. Я встретился с ним на большом собрании, устроенном поляками, которые враждовали между

собой, делясь на два лагеря: пепеэсов (Польская П. Соц.) и польских социал-демократов.

Во главе польских социалистов в Цюрихе стоял известный польский революционер Иодко, позднее один из вождей так называемой фракции. Во главе социал-демократов стояли совсем еще молодая Роза Люксембург и тов. Мархлевский.

С Розой Люксембург я встречался также на лекциях ультра-буржуазного политико-экономa Вольфа. Мне неоднократно приходилось слышать Розу, когда она своим кусательным и ироническим красноречием разбивала буржуазные хитросплетения Вольфа, так что он перед всеми своими ужаснувшимися швейцарскими питомцами, несмотря на несомненную находчивость и недюжинную ученость, оставался, как рак на мели, жевал, бормотал и терялся. Я очень уважал в то время Розу и даже своеобразно увлекался ею. Мне чудилось в ее маленькой, почти карликовой, фигуре с большой выразительной головой на слабых плечах, что-то почти сказочное и немножко дьявольское. Уже в то время она была во всеоружии общественного знания и своего блестящего и холодного ума при пламенном революционном темпераменте.

Плеханов выступил как раз после дискуссии, во время которой Роза как нельзя лучше справлялась с несколько тяжеловесным и замкнутым Иодко. И после ее сарказма и взрывов пафоса красивый человек, о котором с таким уважением возвестил аудитории, уже тогда седой, как лунь, Грейлих, и сейчас еще через 26 лет являющийся одним из вождей швейцарского движения—показался мне немножко пресным и чуть-чуть разочаровал меня.

Зато чистым очарованием была беседа с Плехановым в тот же вечер. Здесь он показал всю увлекательную живость и красноречие своей непосредственной беседы. Мне кажется, что за всю жизнь я встретил только двух собеседников, столь исключительно блестящих, можно сказать, фейерверочных. Это были: Г. В. Плеханов и М. М. Ковалевский.

Разумеется, мы сейчас же схватились с Плехановым. По молодости лет я тогда никого не боялся и свои воззрения защищал с величайшей запальчивостью и дерзостью. Конечно, мне не мало досталось от Плеханова.

Его нападения на Авенариуса были, однако, слабоваты, ибо для меня, знавшего в то время своего Авенариуса насквозь, сразу стало видно, что Плеханов даже не читал его, а судит о нем по наслышке. Зато, конечно, переворот произвела во мне необыкновенно тонкая критика Шопенгауера, которого я в то время изучал, и настоящий дифирамб, вдохновенный и глубокий, который Плеханов произнес в честь Шеллинга и Фихте. О Гегеле мы, конечно, не спорили, хотя я в то время не добрался еще до изучения Гегеля в подлинных главных его сочинениях. Фихте же и Шеллинг казались мне талантами, и я думал ограничиться тем небольшим количеством сведений, которые получил о них из истории философии Куно-Фишера.

Первым и непосредственным результатом моей беседы с Плехановым было то, что я на другой же день отправил томы Шопенгауера назад в библиотеку и навалил у себя на письменном столе томы Фихте и Шеллинга. Я и сейчас бесконечно благодарен Плеханову за то, что он сосредоточил мое внимание на этих двух великанах. Я вынес из изучения их бесконечное количество радости, и на всю жизнь, до сегодняшнего дня, я чувствую огромное благотворное влияние исполинов немецкого идеализма на мое миросозерцание. Только для Плеханова Фихте и Шеллинг были просто интересными предшественниками Гегеля, в свою очередь подножия Маркса, а для меня они во многом оказались самоценностью: сам Маркс озарился для меня новым светом.

Благодаря им я сумел также оценить высокое и самостоятельное значение Фейербаха.

Замечания Энгельса о Фейербахе, которых твердо держался Плеханов, конечно, во многом метки и верны, но те, кто не читал сочинений Фейербаха и просто отмахиваются от него этими немногочисленными замечаниями Энгельса—на мой взгляд не могут вникнуть в эмоциональную и этическую сторону научно-социалистической идеологии.

Плеханов, обратив мое внимание на великих идеалистов Германии, сделал гораздо больше, чем хотел. Он думал только заставить меня подойти к Марксу так, как он подошел к нему сам, но в результате получилось другое представление о марксизме, которое сказалось позднее в

моем сочинении «Религия и социализм» и вызвало горячую и враждебную отповедь Плеханова.

Меньшее значение для меня имело увлечение Плеханова энциклопедистами и материалистами XVIII века. Я и сейчас люблю их, особенно Гельвеция и Дидро, но, тем не менее, они стоят несколько в стороне от моего мировоззерцания.

Позднее, когда я приехал к Плеханову в Женеву и прожил несколько дней в непосредственной близости с ним, я почерпнул у него еще один важный элемент.

Я уже в то время чрезвычайно пристально интересовался вопросом искусства в связи с историей культуры. У Плеханова я впервые встретился с большим, собранным им, материалом, освещенным несколькими необыкновенно яркими мыслями и служившим подтверждением к марксистскому подходу к истории искусства. Очень многое, о чем я тогда говорил с Плехановым, многие выводы, которые я тогда сделал из его слов, остались опять-таки постоянным моим приобретением.

Как я уже сказал, я провел в Швейцарии менее года. Почти смертельная болезнь моего брата в Ницце заставила меня переехать туда, а затем в Реймс и Париж.

Об этой полосе моей жизни я могу не говорить ничего, так как никакой связи с крупными представителями или крупными событиями нашей партии эти три года не имели.

Лично же я продолжал углублять марксистское мировоззрение, особенно пристально работая в области истории религии, притом совершенно самостоятельно. Я почти совершенно перестал посещать лекции и работал в музеях и библиотеках, особенно в богатом музее Гиме.

Искусство и религия составляли тогда центр моего внимания, но не как эстета, а как марксиста. На эти же темы начал я в Париже читать, не без успеха, рефераты тамошнему студенчеству.

В горячих дискуссиях с М. Ковалевским, Гамбаровым, Аничковым я выступал, как страстный адепт марксистского миросозерцания.

В Париже познакомился я также со стариком Лавровым. Если не ошибаюсь, это было совсем незадолго до его смерти. Был он очень стар и жил в своеобразной норе, как будто выкопанной между книгами; читал, как всегда

в жизни, чрезвычайно много и представлялся мне чудом энциклопедичности. Мне удалось иметь с ним несколько длительных и интересных бесед на темы, которые в то время более всего меня интересовали, именно о происхождении родственных мифов у самых далеких друг от друга народов и о законах эволюции мифов.

К марксизму моему он относился скептически и один раз сделал мне род ласкового выговора за неопределенность моих занятий, рекомендуя мне поступить на какой-нибудь факультет. Я ответил ему, что я против факультетов вообще и за совершенно вольное самоопределение молодежи в ее самообразовании.

В 1896 году я вернулся в Россию для отбывания воинской повинности. В виду моей крайней близорукости—я был от нее освобожден.

Пробыл в России недолго. В Киеве я прочитал два реферата в духе моего тогдашнего миросозерцания, побывал мельком в Москве и Петербурге и вернулся за границу, в Париж, этот раз уже ненадолго.

Здоровье моего брата, уход за которым составлял одну из главных моих забот, позволяло переезд его в Россию.

Он (Платон Васильевич Луначарский) и жена его Софья Николаевна придерживались раньше полутолстовских, полународнических взглядов, но под моим влиянием прониклись марксистскими идеями и вошли в социал-демократическую партию.

Несмотря на то, что брат мой был разбит параличом и тяжело ходил, опираясь на палку, он горел нетерпением вместе со мной начать практическую революционную работу. О том же мечтала его жена.

В 1897 году мы вернулись в Москву, где застали в революционном отношении порядочный развал. Предыдущий Московский Комитет был арестован и от него остались только некоторые следы в лице, главным образом, тов. А. И. Елизаровой (сестры Ленина, к которой я имел энергичные рекомендательные письма от Аксельрода) и тов. Владимирского.

Вместе с ними мы приступили к организации нового Московского Комитета. К нам примкнуло несколько социал-демократов, большею частью приезжие из провинции. В близких отношениях с нами был кое-кто из молодежи и, конечно, рабочие, в особенности с завода Гужона

и Листа. Работа постепенно стала налаживаться. Нам удалось устроить небольшую типографию, удачно провести забастовку на заводе Листа, выпустить ряд гектографированных, а в последнее время и печатных листков, основать несколько кружков революционного самообразования и т. п.

Мы, конечно, менее всего догадывались о том, что в нашей среде уже имелся прямой агент охранного отделения, а именно А. Е. Серебрякова, в доме которой мы собирались и которая, хотя не была членом нашего Комитета, так как А. И. Елизарова, по какому-то инстинкту, несколько недоверяла ей, находя ее слишком болтливой,—но, тем не менее, она знала о нашей деятельности достаточно, чтобы провалить нас.

Вскоре у всех членов нашего Комитета, или почти у всех, были сделаны обыски. Мой брат и его жена остались в этот раз в стороне. Арестована была О. Г. Смидович, я и 5—6 наших работников, в том числе кое-кто из рабочих.

Сначала дело повернулось как будто очень благоприятно для меня. Серьезных улик против меня не оказалось. Жандарм Петерс, ведший дело, заявил мне, что считает меня молодым заграничным студентом, попавшим в дурную компанию, не находил нужным вести против меня дело и требовал, чтобы я уехал из Москвы.

Я сделал это и уехал в Киев к матери. Однако, через три дня после моего приезда у меня в Киеве вновь был сделан обыск, и по ордеру Московского Охранного Отделения я был арестован и препровожден в Москву.

На этот раз дело повернулось хуже. Мое участие, и в некоторой мере руководящее участие, в Московском Комитете было ясно для жандармов. Из показаний, которые мне дали прочесть, я убедился, что вся почти картина нашей деятельности уже раскрыта, за исключением некоторых обстоятельств, касавшихся моего брата и его жены, чему я был искренно рад. Кое-какие мои действия, однако, были приписаны другим лицам, и сильно усугубляли их вину. В виду этого, я решился дать показания, точно устанавливающие мою роль, снимавшие ответственность кое с кого из случайно попавших в наше дело и направленные к сокращению напрасной траты времени на следствие.

Несмотря, однако, на это, мне пришлось просидеть, также как и остальным арестованным, в Таганской тюрьме 8 месяцев в одиночном заключении.

Это было очень хорошее время. Правда, вследствие почти полного отсутствия прогулок, а, может быть, и неважного питания, наконец, вследствие усиленной работы сон я часто не спал целыми неделями. Однако, внимательное отношение тюремного врача, в этих случаях предумственного характера,—я почти совершенно потерял писывавшего мне холодные ванны, давало мне возможность перемогаться в смысле здоровья. Зато в духовном отношении эти 8 месяцев представляют один из кульминационных пунктов моей жизни.

Мне давали полную возможность выписывать книги, на что я тратил все деньги, которые получал от матери. Я перечитал целую библиотеку книг, написал множество стихотворений, рассказов, трактатов. Некоторые из них и сейчас находятся в моих бумагах. К этому времени относится окончательная выработка моих философских воззрений, так сказать, моей внутренней религии, которая в главнейших своих частях была потом изложена в моем сочинении «Религия и социализм».

В начале 98 года мы были освобождены, и мне предложено было выбрать город, в котором я должен был подождать до окончательного приговора, причем жандарм Самойленко обещал, что приговор последует через 2—3 месяца.

На самом деле я прожил в Калуге, которую выбрал, целый год, а приговора все не было. Пребывание мое в Калуге играло довольно важную роль в моей личной жизни, а также в моей жизни, как социал-демократа.

Здесь я коснусь только тех сторон, которые характеризуют жизнь нашей партии в крупном провинциальном городе. Хотя я выбрал Калугу совершенно случайно, но в высшей степени удачно, ибо в Калуге ожидали приговоров выдающиеся люди, сыгравшие позднее заметную роль в истории русской социал-демократии. Там жил Богданов (Малиновский), с которым мы очень сдружились, тем более, что наши философские воззрения были во многом родственны, так что в течение долгого времени после этого мы взаимно оплодотворяли друг друга и числились в рядах социал-демократов ближайшими со-

ратниками. Литературная деятельность моя и Богданова можно сказать неотделимы друг от друга, а политически мы были очень близки вплоть до революции 1905 года.

Ближайший друг Богданова—Базаров (Вл. Руднев) вскоре также переехал в Калугу. Очень близок был в то время к нам И. И. Скворцов (Степанов), уже тогда отличавшийся огромной эрудицией в области экономики и истории рабочего движения. Наконец, поселился с нами, не так близко с нами сросшийся, но все же чрезвычайно интересный для нас—Б. В. Авилов, перед тем уже выступавший в литературе, в журнале Струве «Начало».

Я думаю, что в то время в России не много было городов, где можно было бы отметить такой кружок сил марксистов. При том же нас всех об'единял некоторый оригинальный уклон. Мы все глубоко интересовались философской стороной марксизма и при этом жаждали укрепить гносеологическую, этическую и эстетическую стороны его, независимо от кантианства, с одной стороны, к которому уже начался в то время уклон, позднее столь заметный в Германии и у нас (Бердяев, Булгаков и, не сдавая в сторону той узкой французской энциклопедистской ортодоксии, на которой пытался базировать весь марксизм, Плеханов).

Богданов искал при этом совершенно своеобразных путей, но пути эти оказались соприкасающимися с эмпирио-критицизмом. Позже эмпириомонизм Богданова развернулся, так сказать, определяя себя по отношению к эмпирио-критицизму.

Мы жили в Калуге необыкновенно интенсивной умственной и политической жизнью. Во-первых, вместе с И. И. Скворцовым я начал интенсивную пропаганду в кружках, собранных из учителей и учащейся молодежи, а затем в организации рабочих Калужского ж. д. депо; во-вторых, мы стали в ближайшее отношение с довольно крупным фабрикантом Д. Дм. Гончаровым, владельцем Полотняного завода. Полотняный Завод, майорат, основанный еще Петром Великим, и очаровательнейший уголок Калужской губ., помнил и Пушкина, заветами которого и памятью о друзьях и врагах в высокой мере овеян был дворце-подобный дом Гончаровых, и Гоголя, который в восторженных выражениях отзывался о вековом парке Полотняного Завода, и многих других.

Самый дом был настоящим музеем, в котором все эпохи от Петра Великого до тогдашнего модернизма оставили яркий след. Теперь, в качестве Народного Комиссара по Просвещению, я принял некоторые меры к охране этого замечательного уголка, конечно, не в память моего там пребывания, а в виду знакомства моего с большим культурным его значением.

Сам Гончаров и его жена Вера Константиновна были людьми глубоко культурными, и Полотняный Завод превратился в настоящие маленькие Афины: концерты, оперные спектакли, литературные вечера чередовались там, принимая зачастую весьма оригинальный и привлекательный характер.

Мне все это было чрезвычайно близко и во всем этом я принимал живейшее участие. Но здесь меня интересуют другие стороны жизни Полотняного Завода. Д. Д. Гончаров был социал-демократ: к ужасу и негодованию соседних фабрикантов, особенно владельцев завода Говарда, он ввел у себя 8-часовой день, участие в прибылях, целый ряд культурно-просветительных и хозяйственных мероприятий по образцу, приближавшему Полотняный Завод к первым опытам Роб. Овена.

Я вскоре совсем переселился на Полотняный Завод; туда же перевели мы 2 или 3 наших учеников из кружков. Нам не приходилось вести среди рабочих пропаганды, в смысле борьбы с непосредственным представителем капитала, который был нашим дорогим товарищем, но это не мешало нам вести там общую социал-демократическую работу и стараться через посредство рабочих Полотняного Завода влиять на рабочих Говарда и т. д.

Полиция смотрела на все это с чрезвычайным неодобрением. У меня были прекомические столкновения со становым, который не знал, как вести себя, имея, с одной стороны, перед собою ссыльного, а с другой—личного близкого друга богатого фабриканта и уездного предводителя дворянства—Гончарова.

Вмешался в дело губернатор, я неясно помню его фамилию, кажется, Олсуфьев,—грузный человек, похожий на бегемота,—который вызвал меня к себе и предупредил, что будет вынужден выслать меня из Калужской губ., так как обо мне дурно говорят. Особенно компрометирующим находил губернатор мою близость с теткой Д. Д. Гончарова,

очень пожилой дамой, врачом, близким другом великого Провансальского поэта Мистраля. Губернатор считал ее прямо каким-то страшилищем. Эта дама жива и сейчас, и я недавно получил от нее письмо, в котором она упрекает нас в излишней государственности и советует двигаться по направлению вольных рабочих братств и коммун. Я думаю, что сейчас Гончаровой не менее 70 лет, и ее, хотя и наивное на мой взгляд, но полное веры в революцию письмо, в особенности после того, как я узнал, сколько треволнений пришлось ей пережить на том же Полотняном Заводе в острый период революции,—меня глубоко тронуло.

Губернатор находил, что обо мне говорят плохо—на самом деле обо мне говорили слишком хорошо. Влияние мое в Калуге и окрестностях выросло до чрезвычайности. К этому времени все другие товарищи: Богданов, Базаров, Скворцов, Авилов уже получили приговоры и раз'ехались в разные губернии. Я остался один и приобрел громкую известность. Жизнь у меня была самая разнородная, начиная от кружков самообразования среди приказчиков и приказчиц, с которыми я начал с чтения Пушкина и Шекспира, продолжая литературным кружком с весьма определенным радикально-демократическим налетом, в котором не без опаски, но с увлечением принимали участие чиновник особых поручений при губернаторе Барт и управляющий казенной палатой Племянников, и кончая чисто рабочими организациями Калужского ж. д. депо.

Этот конец моего пребывания в Калуге я проводил, действительно, в каком-то кипении и нисколько не удивлялся, когда товарищи, недавно посетившие Калугу, рассказывали мне, что память обо мне там до сих пор не замолкла.

Гончаровы к тому времени переехали в Москву. Я несколько раз нелегально ездил туда из Калуги и один раз во время такой поездки «зайцем»—был арестован. За преступление меня приговорили к одной неделе заключения в арестантском доме, где я занимался переводом стихотворений Демеля, которые только по несчастной случайности не появились в свет, так как были позднее потеряны.

Наконец, приговор пришел и оказался гораздо более мягким, чем я ожидал. Я был приговорен только к двухлетней ссылке в Вятскую губернию, правда, это после двух

лет проволочки, считая со дня моего ареста. В Вятку мне ехать до крайности не хотелось. В Вологде же в то время жил А. А. Богданов и писал мне оттуда, что туда же приехали некоторые из их старых друзей: Крыжановская В. Г. с мужем, Тучапским, организатором Спилки, Бердяев, в то время далеко отошедший от нас, но представлявший для нас живой интерес, именно, как противник. Кроме того, в Вологде поселились такие интересные люди, как Ремизов, Савинков с женой, дочерью Глеба Успенского, и некоторые другие.

Богданов писал мне об очень интенсивной умственной и политической жизни в Вологде; особенно хорошо отзывался он о В. А. Жданове, позднее так печально, но так героически выступившем против нас (после Октябрьского переворота), и о И. А. Саннере, и сейчас играющем выдающуюся роль в нашей партии.

Все это повлекло меня с большой силой в Вологду, поэтому я и решился сделать так: более или менее самовольно выехал я в Вологду, остановился там и оттуда подал министру внутренних дел Плеве записку, заявлявшую, что я болен, нуждаюсь в постоянном уходе и поэтому прошу оставить меня в Вологде, где живут мои близкие друзья. Надежды на такое оставление у близких мне людей не было никакой, и мы были приятно удивлены, когда тогдашний губернатор Князев получил от Плеве короткую телеграмму: «Луначарского оставьте».

Партийная жизнь в Вологде, как читатель мог уже заключить из перечисления имен тогдашних ссыльных в этом городе, была очень интенсивной. До моего приезда Ник. Бердяев стал было занимать нечто вроде доминирующего положения, его рефераты пользовались большим успехом.

Наша социал-демократическая публика поощряла меня выступить с рядом диспутов против Бердяева, противопоставляя его идеализму, в то время докатившемуся уже до признания не только христианства, но почти православия, марксистскую философию в ее более широкой и яркоцветной редакции, которую мы, определенная Калужская группа, противопоставляли в то время той сухой и, на наш взгляд, отжившей редакции, которую выдвигал Плеханов.

Я, действительно, прочитал в Вологде несколько рефератов с выдающимся успехом, приобрел быстро значи-

тельные симпатии среди тогдашней учащейся молодежи и чрезвычайно многочисленной в то время колонии ссыльных с их семьями.

В Вологду до нас доходили только смутные слухи о разногласиях в самой социал-демократии, к тому времени еще весьма неопределенных. В общем же мы, социал-демократы, составляли количественно и качественно самую сильную группу в Вологде.

Конечно, сложа руки я сидеть не хотел. Вариться в собственном колониальном соку мне также не улыбалось. Я решил приступить к несколько расширенной работе. Я не говорю здесь о моих первых литературных опытах беллетристического характера, так как они не относятся к задачам этой книги. Литературная же моя деятельность, публицистическая, началась, действительно, в Вологде. Я опубликовал против Бердяево-Булгаковского направления ряд статей: «Русский Фауст» в «Вопросах философии и психологии», «Белые маги» в «Образовании» и несколько более мелких полемических статей против идеалистов. Мы задумали также, и к концу моего пребывания в Вологде осуществили, сборник «Очерки реалистического мировоззрения», который представлял собой систематический ответ на сборник противоположной группы «Проблемы идеализма». В нашем сборнике большое место занимала моя статья «Опыт позитивной эстетики», которая в настоящее время не утеряла своего значения.

Но если я говорю о расширенной работе, то имею при этом в виду не литературный мой план, а стремление связаться непосредственно с рабочим населением.

«Северный край»—лево-либеральная газета, издававшаяся в Ярославле, пригласила меня своим корреспондентом из Вологды. Пользуясь этим, я посетил рабочие спектакли на большом винном заводе, под Вологдой, и написал статью, которая должна была служить, так сказать, первым камнем к известному сближению между мною и рабочими.

Однако, бдительность полиции оказалась большей, чем я предполагал. По доносу начальника казенной палаты Миквица, либерала и даже кажется кадета, губернатор Ладыженский, тоже полукадет, который впоследствии даже пострадал, кажется, за свои левые убеждения в военное время, распорядился о высылке меня в Тотьму, как элемент, опасный даже в Вологде. Тут началась довольно

курьезная борьба между мною и губернатором: я добровольно выехать отказался—меня повезли этапом. Какие-то формальности при этом не были выполнены и меня оставили в Кадникове. Из Кадникова я самовольно вернулся в Вологду. Тогда меня посадили в Вологодскую губернскую тюрьму. Но губернатор чувствовал смешную и нелепую сторону своих преследований против меня, в то время уже приобретшего некоторую литературную известность, и во всяком случае почетное имя во всех, сколько-нибудь интеллигентных, кругах Вологды; он разрешил мне только ночевать в тюрьме, а весь день проводить у себя дома, то-есть у родителей моей жены, ибо я незадолго перед тем женился на сестре А. Малиновского-Богданова—Анне Александровне.

Наконец, вопреки моим протестам, состоялось окончательное постановление о посылке меня этапным порядком в г. Тотьму. К этому времени совершенно расползлись дороги, была весна и этапом ехать было почти невозможно. Я тащился до Тотьмы больше недели, в дороге заразился чесоткой и, приехав в этот город, слег. На основе чесотки у меня сделалась рожа и я чуть было не умер от всей этой истории. Но моя жена приехала в Тотьму, выходила меня, и, когда я выздоровел и осмотрелся, я почти был доволен моей новой ссылкой..

Тотьма — это чудесный маленький городишко, на берегу очень широкой и величественной здесь Сухоны, против огромного леса, занимающего другой берег. Около Тотьмы есть гостеприимный живописный монастырь, куда мы часто ездили на тройке.

Дешевизна жизни в Тотьме была необычайная, так что при сравнительно скудном моем литературном заработке и маленькой помощи от семьи — мы с женой могли жить, можно сказать, припеваючи. Правда, ссыльных здесь не было вовсе.

В виду наличия в Тотьме учительской семинарии, которая когда-то бунтовала, Тотьма была об'явлена под запретом для ссыльных, и я отправлен был туда в виде исключения.

Местное общество относилось ко мне хорошо. Разные чиновники и их жены, устраивавшие спектакли, затевавшие что-то вроде кружка самообразования, сейчас же со-

брались вокруг меня, причем я со своей стороны отнюдь не отказывал им в самом близком и деятельном общении.

Среди этой публики были и некоторые молодые учителя и учительницы или слушатели учительской семинарии, из которых мог выйти толк. Среди крестьян я никакой пропаганды не вел, так как не умел подойти к ним. Но вскоре в Тотьму приехал новый исправник, бывш. Вологодский полициймейстер, которому, повидимому, было особенно поручено пресечь всякую возможность для меня начать какую бы то ни было общественную деятельность в Тотьме. Он запугал все маленькое Тотемское полукультурное общество и изолировал бы нас совершенно, если бы в Тотьме не было чрезвычайно дружной с нами семьи товарищей по партии, Васильевых. Вдова В. В. Васильева — Е. А. Морозова и сейчас остается близким другом моим и всей моей семьи. Их и наша семья коротали два года Тотемской ссылки вместе.

Эти годы не прошли бесследно для моего развития. Во-первых, я развернул в Тотьме большую литературную работу. Здесь я написал большой этюд о Ленау, перевел его «Фауста» и опубликовал в «Образовании» и «Правде» большой ряд критических и полемических этюдов, которые по возвращении из Тотьмы я издал отдельным большим томом в издательстве Мягкова, и которые доставили мне довольно широкую известность среди читающей публики.

С предложением писать ко мне обращались большинство издателей левых журналов. Тут же написан был мною популярный очерк философии Авенариуса с приложением критического очерка о Панидеале Ольцапфеля, изданный Дороватовским.

Но как ни много писал я в Тотьме — еще больше я читал и думал. Несмотря на достаточную интенсивную работу в Цюрихском университете, Парижских музеях и высших школах, я должен сказать, что наибольшего успеха в области выработки миросозерцания я добился именно во время 8-месячного заключения в Таганке и 2-х лет моей жизни в Тотьме.

Бежать из подобной ссылки мне не приходило даже в голову. Я дорожил возможностью сосредоточиться и развернуть свои внутренние силы. Конечно, ссылка была в значительной мере невыносима, если бы не превосходная семейная жизнь, которая сложилась у меня, и не постоян-

ная общая работа с женой, явившейся для меня близким, все во мне понимающим другом и верным политическим товарищем на всю жизнь.

По окончании ссылки в 1901 году мы с женой поехали в Киев, где жила моя мать. Однако, нам пришлось там жить недолго. Киевская газета полусоциал-демократического типа («Отклики жизни»), редактировавшаяся, главным образом, В. В. Водовозовым, пригласила меня в качестве заведующего театральным отделом, и я вступил было в свои обязанности, в то же время предполагая начать целые курсы лекций и рефератов для учащейся молодежи и возобновить работу в Киевских рабочих кругах. Но партийные верхи уже обратили на меня внимание и считали невозможным оставить меня, таким образом, на кустарной работе.

То было тяжелое время полного раскола между большевиками и меньшевиками. Я более или менее определенно стоял на большевистской позиции, хотя не все стороны распри были для меня ясны. Решающим моментом для меня было скорей не подробное знакомство с разногласиями, а тот факт, что А. А. Малиновский-Богданов всецело вошел в большевистское движение и сделался для России как бы главным представителем Ленина и его группы.

Распря осложнилась еще тем моментом, что русский центр в лице и ныне работающих в нашей партии и занимающих определенные посты в Советской власти товарищей Красина, Карпова, Крыжановского, стали на так называемую примирительную позицию. По существу вышла 3-я линия, почти одинаковой враждебностью пользовавшаяся со стороны «чистых» большевиков и меньшевиков. Центральный Комитет (соглашательский) имел в то время свою главную квартиру в Смоленске, куда я был вызван. Особенно сильное впечатление среди тогдашних работников этого Центрального Комитета произвел на меня тов. Иннокентий, позднее сыгравший такую большую роль в истории нашей партии и безвременно погибший, оставив по себе среди многих большевиков восторженную память, как о настоящем государственного типа уме. Уже тогда этот выдающийся человек отличался замечательным классовым чутьем и широтой воззрений.

В Смоленске я составил большую прокламацию по поводу убийства Плеве, которая была издана, как первый

большой листок от нового Центрального Комитета. Там же я взял на себя обязанность быть, так сказать, главным пером этого соглашательского Ц. К. Однако, несмотря на убеждения Красина, Крыжановского и Иннокентия, у меня не было полной уверенности в правильности нашей линии.

Едва я вернулся в Киев, как получил категорическое письмо от Богданова, в котором он звал меня немедленно ехать за границу для личного знакомства с Лениным и вступления в редакцию центрального органа большевиков. Посоветовавшись с женой, мы решили, что нашей обязанностью является повиноваться этому призыву.

Мы выехали за границу в конце 1904 г. Приехали в Париж, и там я остался довольно надолго. Ехать в Швейцарию мне не хотелось, так как полной уверенности в необходимости партийного раскола у меня не было и принимать участие в братоубийственной борьбе мне не хотелось.

Я видел, как радуются расколу нашей партии социалисты-революционеры, анархисты, а отсюда мне легко было заключить, какую радость доставляем мы этим расколом и более далеким нашим врагам.

В моих ушах, так сказать, звучали еще уверенные речи Иннокентия о полной возможности спаять вновь социал-демократическую партию. Я выписал себе всю меньшевистскую и большевистскую литературу и старался вчитаться в них. В этих колебаниях прошло несколько месяцев. Наконец, в Париж приехал за мной Владимир Ильич лично. Немного времени понадобилось для того, чтобы заставить меня совершенно покончить с моими сомнениями. Правда, в то время позиции не рисовались вполне отчетливо. Меньшевики только несколько позднее, к Январским событиям и революции 1905 года, стали выявлять свою линию союза с либералами и поддержки грядущей революции, как типично буржуазной, от которой можно ждать лишь более или менее радикального изменения политического строя России. Тем не менее уже в то время было ясно, что так называемая «широкая партия» означала собой, главным образом, интеллигентскую партию.

Ленину уже без труда удавалось доказать, что за нами, большевиками, идет только наиболее решительная, наиболее последовательно мыслящая интеллигенция, в большин-

стве случаев ставшая профессионалами революции, а затем густые слои рабочей массы, за меньшевиками же огромное количество демократической интеллигенции и кое-где налипшие на них верхушки профессиональных союзов, те типы «развитого» рабочего, которые всегда являются главными проводниками оппортунизма в массы.

Все мое миросозерцание, как и весь мой характер, не располагали меня ни на одну минуту к половинчатым показаниям, к компромиссу и затемнению ярких максималистских устоев подлинного революционного марксизма. Конечно, между мною, с одной стороны, и Лениным, с другой, было большое несходство. Он подходил ко всем этим вопросам, как практик и как человек, обладающий огромной ясностью тактического ума и поистине гениального политика, я же подходил, как философ и скажу еще определенней, как поэт революции. Для меня она была необходимым в своем трагизме моментом в мировом ходе развития человеческого духа к «Вседуше», самым великим и решительным актом в процессе «богостроительства», самым ярким и решающим подвигом в направлении программы, формально удачно намеченной Ницше — «в мире нет смысла, но мы должны дать ему смысл».

В этих коротких словах намеченная здесь философия революции могла бы вызвать у Ленина только известную досаду, и наши работы, я говорю о группе: Богданов, Базаров, Суворов, я и некоторые другие — действительно, ему не нравились. Однако, он чувствовал, что группа наша, ушедшая от близкой ему Плехановской ортодоксии и философии, в то же время обеими ногами стоит на настоящей непримиримой и отчетливой пролетарской позиции в политике. Союз, уже состоявшийся между ним и Богдановым, скреплен был также и со мной. Я немедленно выехал в Женеву и вошел в редакцию журнала «Вперед», а позднее «Пролетарий».

Не могу сказать, чтобы Женевский период, тянувшийся почти два года, оставил во мне особенно приятные воспоминания.

Редакция, правда, была у нас дружная, она состояла в то время из 4-х человек: Ленина, Воровского, Галерки (Александрова) и меня. Я выступал и писал под фамилией Воинов. Как публицист я не был особенно плодовит, — рядом с Лениным не приходилось писать слиш-

ком много: он с поразительной быстротой и уверенностью отвечал на все события дня. Много писал также Галерка. Зато, как пропагандист идей большевизма, как устный полемист против меньшевиков — я занял первое место и в Женеве, и в других городах Швейцарии, и в колониях русских эмигрантов во Франции, Бельгии и Германии. Раз'езжал я неутомимо, повсюду посещая наши, порою столь крошечные, но всегда энергичные, большевистские организации, повсюду грудью встречая натиск несравненно более компактной меньшевистской и бундовской публики и повсюду читая рефераты.

Я не отказывал себе в удовольствии рядом с рефератами, чисто политическими, устраивать также рефераты на философские, литературные и художественные темы. К ним душа моя лежала больше, да они, по правде, и имели несравненно больший успех, они создали мне в эмиграции, а через эмиграцию, в России род славы, как оратора и лектора.

Политическая же работа в то время была до крайности неприятной. Она неизменно сводилась к тому, что мы, социал-демократы правого и левого крыла, беспощадно грызлись между собой, вызывая иронические аплодисменты со стороны эсеров, анархистов и т. п. Жизнь эта меня утомила, но я считал своим долгом исполнять мою миссию странствующего проповедника и полемиста со всяческим рвением. Странным образом, несмотря на большую беспощадность, с которой я эту полемику вел, я не нажил много врагов среди меньшевиков. Наоборот, мне кажется, что среди большевиков, с более или менее крупными именами, нет пожалуй ни одного, у которого так долго сохранились бы человеческие отношения, как с вождями меньшевиков, так и с рядовыми членами их организации.

Чтобы закрепить разрыв партии, который казался нам абсолютно необходимым, и привлечь к себе окончательно соглашенцев, у которых новых линий абсолютно не вытанцовывалось, мы решили созвать в Лондоне, так называемый 3-й С'езд Партии. Главным организатором С'езда в России явился Богданов. Он, став во главе «Организационного Бюро Комитетов большинства», об'ездил всю Россию и обеспечил за С'ездом значительный приток крупных работников с мест. Его правой рукой был совсем еще молодой студент Каменев. С этого момента Ка-

менев сразу всходит на вершину движения, вступает в главный штаб, в котором и остается, к большому выигрышу партии, по сей день.

3-й С'езд вообще выявил главные фигуры нашей партии. Правда, и на 2-м С'езде выдвинулось несколько лиц, которые играли некоторую роль в начале истории большевизма, а теперь вернулись в ряды большевиков вновь. Я говорю о таких людях, как В. Д. Бонч-Бруевич, как Гусев и некоторые другие.

На 3-ем же С'езде окончательно выяснилась возможность длительного союза между Лениным и Богдановым, с одной стороны, и тов. «Никитичем», т. е. Красиным, с другой. С тех пор Красин занял в большевистском мире пост одного из крупнейших практических вождей. Эта роль осталась за ним до конца 1906 г. Также точно на первый план выдвинулся москвич «Власов», т. е. Алекс. Рыков, один из признанных авторитетов нашей партии, руководитель С. Н. Х. и всех заготовок для Красной Армии.

Выдвинулся и был избран в Ц. К. тов. «Строев», т. е. Десницкий, долгое время бывший одной из основных фигур большевизма, потом отошедший, а сейчас числящийся в своеобразно сочувствующих Советской Власти и работающий, как выдающийся педагог и организатор рука-об-руку с нею.

Не стану перечислять других, как старика Миху, Раскольникова (из Самары), Бадима, сейчас кажется продолжающего стоять в стороне от движения, но некоторое время бывшего одним из виднейших деятелей партии, и т. п.

С'езд был немногочислен, но отборен по своему составу. На нем в конце концов создалось движение большевизма. Были выработаны определенные тезисы: держать курс на революцию, готовить ее технику, не забывать за «экономическим и закономерным»—волевого организующего начала. За цель же положить себе диктатуру пролетариата, опирающегося на крестьянские массы.

Все это сделало большевистскую партию готовой к первым бурям и грозам революции 1905 года.

Январские события застали меня все еще в Женеве. Нечего и говорить, какое огромное волнение переживала в то время партия, какой нервный характер приобрели

наши митинги. Мы стали на точку зрения военной организации революции, как таковой, в то время, как меньшевики расчитывали на парламентские формы, банкеты, демонстрации, стачки и т. п., мы говорили о диктатуре пролетариата, опирающегося на крестьянские массы, а они о диктатуре буржуазии, подпираемой пролетариатом.

К сожалению, вскоре после Январских событий я почувствовал себя дурно и вынужден был просить небольшого отпуска, причем для отдыха уехал вместе с женою в Италию. Мы поселились во Флоренции, откуда я продолжал сотрудничать в «Пролетарии», но где, главным образом, занимался историей искусства, итальянской литературой, следя в то же время лихорадочно за событиями, происходившими в России.

В конце Октября 1905 года я получил от Ц. К. предписание немедленно поехать в Петербург. Предписание это было мною исполнено сейчас же и в Петербург я прибыл в первых числах Ноября. В городе в то время шумела революция. Правительство как-то спряталось. В прессе доминировали левые газеты и мальчишки звонкими голосами выкрикивали такие странные в России революционные названия новых листков.

Повсюду шли митинги. Петербургский Совет рабочих депутатов был несомненным вторым правительством, и оптимисты думали, что он располагает, пожалуй, большими силами, чем настоящее правительство.

Мне незачем здесь рассказывать о тех событиях революции 1905—1906 годов, которые в настоящее время известны всем и даже достаточно изучены. Я отмечу здесь лишь коротко, как надлежит в предисловии, некоторые отдельные факты, касавшиеся близких мне политических кругов и лично наблюденные мною.

Главными заботами центрального штаба нашей партии в начале революции, т. е. до поражения московского восстания, была постановка прессы и организации и вопросы о сближении с меньшевиками.

В первом отношении партия вступила сначала на несколько неправильный путь. Лично я вошел в редакцию газеты «Новая жизнь», которую Горький и Румянцев задумали еще до переворота 17 Октября, по типу в сущности левой газеты, несколько беспартийного характера с марксистским оттенком. Мы унаследовали от этого плана

хороший технический аппарат, который, быть может, с несколько излишней американской ширью вел П. П. Румянцев, но загроможденный значительным количеством чисто буржуазных журналистов. Достаточно сказать, что во главе редакции числились три лица: Ленин, Горький и... Минский. За Минским тянулась целая вереница более или менее беспартийных людей, в то время, быть может, и искренне тяготевших к победной революции. Но что в сущности могло об'единять нас с ними? Гораздо легче работать с какими-нибудь анархистскими или эсеровскими элементами, которые родственны им по своему мировоззерцанию. Еще не пришло то время, хотя оно придет, когда марксизм развернется со всей пышностью заложенных в нем возможностей и сделается центром внимания и душою не только рабочего класса, но и трудовой интеллигенции. Этого мы не достигли еще и до сих пор. Но тут нисколько не вина нашей партии: действительно, пока некогда разрабатывать вопросы философии и культуры в самом широком смысле этого слова. Мы находимся еще в области первых завоеваний власти и первых упорядочений экономических основ быта. Строится суровый фундамент из едва облицованных камней, и о тонкостях архитектуры грядущих верхних этажей мечтают некоторые, но не говорит и не рассуждает никто. Они влюблены в их красоту, верят, но заваленные текущей работой отдаются жгучему моменту. Так это было, конечно, и в 1906 году. Так как я лично всегда отличался от других моих товарищей (за малым исключением) особенно острым интересом именно к этим грядущим верхним этажам, то со стороны Минского была сделана даже попытка чего-то вроде переворота в редакции «Новой Жизни», а именно: создания союза между наиболее левыми интеллигентами и наиболее «культурными» большевиками, к которым он сделал честь отнести меня. Конечно, на это предложение я ответил только пожатием плеч.

Когда «Новая Жизнь» скончалась, партия вступила на более планомерный путь с изданием газеты «Волна», а по закрытии ее, некоторых других. Это были газеты чисто партийные, велись они хотя односторонне, но, тем не менее, энергично и ярко и имели большой успех в массах.

Но ко времени их деятельности преобладание правительства реакционного над силами Совета сказалось уже

с полной ясностью. Дело приближалось к аресту сперва первого состава Президиума, а потом и второго с Троцким во главе.

В организационном отношении дело шло не особенно хорошо. И мы, и меньшевики одинаково сознавали, что Петербургский Совет рабочих депутатов покоится больше на известном под'еме рабочих, чем на подлинном политическом сознании, а в особенности на подлинной прочной низовой организации.

Дан проповедывал в то время энергично устройство системы клубов, к чему кое-где и приступили. Чисто партийные организации, организации профессиональные, несомненно, отличались еще известной рыхлостью. Людей, как всегда, не хватало. Работа в армии шла, но, главным образом, в некоторых частях, расквартированных в Финляндии, что в свое время сказалось Свеаборгскими событиями и т. п.

Однако, и с этой стороны мы были еще далеки от того положения, которое создалось более серьезной империалистической войной к нашим дням.

С крестьянскими восстаниями, вспыхивавшими в разных местах, мы были совершенно не связаны, за исключением Латвии, где движение лесных братств и вообще крестьянское массовое движение шло более или менее непосредственно под руководством партии.

Чем дальше, тем больше выяснялось, что революция, как массовое явление, идет на убыль; повторные попытки генеральных стачек причинили нам вред, показав как раз такую убыль в настроении населения. Поражение Московского восстания нанесло почти смертельный удар. К этому времени относится и перелом в наших отношениях к меньшевикам. Начиная с возвращения эмиграции в Россию, появляется тенденция к сближению между обеими частями партии. Оказалось, что революция ставит перед нами столь общие задачи, что как ни велики были теоретические разногласия, силы сближавшие перевешивали. С умилением можно было наблюдать, как прежде столь близкие друзья, а потом столь свирепые враги, Ленин и Мартов мирно беседовали друг с другом и искали точек соприкосновения.

Растущее давление реакции способствовало такой спайке и породило те бесконечно длинные заседания, ко-

торые велись у нас сообща с меньшевиками, для выработки редакции единой газеты. Я председательствовал на этих собраниях и в то время всячески старался добиться благоприятных результатов. Формально мы добились их, общая редакция была создана, роли распределены, была даже пара общих редакционных заседаний, и, не помню точно, кажется выпущен был один номер соединенной газеты, но газета была сейчас же воспрещена, а возобновить ее не удалось уже потому, что между нами и ими опять все пошло врозь.

Самым героическим усилием к об'единению партии был, конечно, Стокгольмский с'езд: и мы, и меньшевики напрягли все силы, чтобы иметь на этом с'езде большинство.

Я поехал в Стокгольм со второй партией делегатов и на пути с нами произошло, между прочим, курьезное несчастие. Капитан парохода опасался везти нас открытым морем из-ва качки, которая могла бы повредить целому гурту цирковых дрессированных лошадей, бывших нашими сотоварищами по путешествию. Пароход наскочил на камень. В первую минуту ночью, когда раздался оглушительный взрыв, пароход накренился на бок и раздались крики о том, что вода проникает в каюты первого класса,—я думал, что какое-нибудь русское судно, узнав о том, кто едет на этом пароходе, послало против нас мину или хватило нас каким-нибудь крупным снарядом.

Довольно любопытно было наблюдать сцены, происходившие в течение всей этой ночи, пока пароход, к несчастию, крепко засевший на пронзившем его бок остром камне, очень медленно погружался в море. Мы все ходили со спасательными поясами под мышками в предрассветных сумерках и ждали момента, когда нам прикажут садиться в шлюпки. Близ лежащий берег, или вернее скала, казался нам не только бесприютным, но и совершенно недоступным с моря, и один старый финн, не то пугая нас, не то действительно испуганный, говорил, что шлюпки непременно разобьются об этот берег. К утру нашу маленькую пушку, которая тревожно кашляла на корме, услышали из Гельсингфорса и на выручку к нам приехал маленький полицейский пароход. Когда он забрал нас и отвез в Гельсингфорс, ему и в голову не при-

ходило, что он имеет в своих руках ровно половину состава социал-демократического с'езда, захватив которую, он мог бы нанести надолго непоправимый удар всему делу русской революции. Но полиции все это было невдомек, и она нас свободно отпустила с пароходом, уходившим на следующий день.

По приезде в Стокгольм я нашел ситуацию уже выяснившейся. Было ясным, что меньшевики на С'езде будут в большинстве.

В то время немалую роль в жизни партии стал играть Алексинский. Мы раньше его не знали. Я и теперь плохо знаю его студенческое прошлое. Он был нам рекомендован, как бойкий журналист, весьма симпатизирующий большевизму. Очень скоро он вступил в партию и действительно показал себя чудесным газетным работником: с невероятной быстротой писал он статьи на любые темы и скоро сделался главной опорой газеты, не как политический руководитель, а как всегда готовое перо.

В Стокгольме, когда Ленин придумывал все стратегические ходы для того, чтобы обеспечить за большевиками максимум влияния в грядущей партии и склонялся уже к идее разорвать и разрушить С'езд,—Алексинский выступил против него с горячими филиппиками, и внезапно для всех нас из крайнего меньшевикоеда превратился в какого-то размякшего защитника идей неразборчивого единства.

Надо сказать, однако, что когда линия нашего поведения была определена, то тот же Алексинский вновь превратился в самого озлобленного полемиста и при выступлениях Плеханова буквально порывался броситься на него чуть не с кулаками, так что для предотвращения с его стороны скандальных выходок мы посадили рядом с ним двух уравновешенных товарищей. Плеханов в шутку говорил мне после заседания: «что вы этого Алексинского сырым мясом кормите что ли, для злобы?»

Сколько, однако, ни хитрил Ленин и какие бы тактические приемы он ни выдумывал, все равно факт остался фактом: меньшевики имели весьма определенный перевес на С'езде, и Ц. К. должен был оказаться в их руках.

Вопрос стало быть ставился так: идем ли мы в об'единенную партию, которою меньшевики будут руководить,

или не идею? С обычной прозорливостью и прямотой Ленин утверждал, что из об'единения не выйдет ровно ничего. Однако, возобладало мнение попытаться создать общую партию для того, чтобы оказать возможно более дружный отпор грозно надвигавшейся реакции.

Последние переговоры о составе Ц. К. поручены были со стороны большевиков мне, и я старался проявить здесь максимум уступчивости. Должен сказать, что товарищи довольно неприятно подвели меня: я подписал договор с меньшевиками о том, что новый состав Ц. К., в который входило несколько более трети большевиков по нашему собственному выбору, будет принят С'ездом единогласно. Между тем, фракция, не предупредив даже меня, и, повидимому, без предварительного совещания, решила иначе, и вышло так, что за большевиков, которые шли по списку первыми, вотировал весь С'езд, а за меньшевиков только меньшевистское большинство, большевики же воздержались.

Раз'ехались мы со С'езда довольно сумрачными. Для всех было ясно, что мир кажущийся. Передавали фразу, сказанную столь плохим пророком Даном, в то время являвшимся настоящим диктатором меньшевиков: «с большевиками теперь покончено, они побарахтаются еще несколько месяцев и совсем расплывутся в партии».

Каким действительно оптимистом своей линии нужно было быть, чтобы до такой степени не понимать тот заряд энергии, который был заложен в левую социал-демократию!

Мне незачем следить здесь за дальнейшим ходом развития наших отношений с меньшевиками. Поражение открыло перед нами две линии: можно было идти, с одной стороны, по пути парламентаризма, в том убогом виде, какой отмеривался Столыпиным, по пути приспособления к мнимо конституционным порядкам «буржуазной» монархии, как окрестил новый режим Мартов, или продолжать борьбу партизанскими способами.

Меньшевики, конечно, выбрали первый путь, большевики, конечно, второй. Была выпущена знаменитая брошюра Ленина о тройках и пятках, участились с нашей стороны лихие чисто военные действия, вроде тифлисской экспроприации и т. п. Меньшевики, конечно, осуждали такой метод действия, как бандитизм и вырожде-

ние революции, а мы с презрением смотрели на быстрое погружение в приспособленчество этой партии, еще никогда так ясно не показавшей нам своего мелко-буржуазного духа.

Забегая вперед, скажу, что вскоре и среди самих большевиков начались разногласия по той же линии. На этот раз Ленин, под некоторым влиянием покойного товарища Иннокентия, взял курс несколько вправо: он был за участие в выборах в Думу и считал, что мы, готовясь к дальнейшему революционному под'ему, в то же время должны вести политическую работу в Государственной Думе и во всех общественных учреждениях (профессиональных союзах, кооперативах и т. п.), в которых рабочая жизнь могла еще биться легально. Это соединение легальности и нелегальности казалось Богданову и другим ультралевым большевикам эклектизмом и после того, как с помощью меньшевиков, в момент, когда разрыв не был еще окончательным, Ленин провел выборы во вторую Думу, Вольский и другие москвичи потребовали немедленного отзыва наших депутатов. Богданов не стал на такую решительную точку зрения: он требовал, чтобы нашей фракции в Государственной Думе поставлен был ультиматум о полном подчинении революционной партийной тактике, а в противовес—угроза отказать ей в политической поддержке.

Это об'яснялось тем, что Богданов и его группа (в том числе Красин, Мартов, Лядов, Алексинский, Покровский) считали тогдашнюю линию думской фракции безвольной и вялой. Надо помнить, что мы официально несли тогда ответственность не только за выступление ничтожного количества большевиков (главным образом, Алексинского), но и меньшевистского большинства, с которым мы составляли неразрывную парламентскую фракцию. Ленин осуждал и этот, так называемый ультиматизм.

Как всегда бывает, в эпоху реакции вновь появились и философские разногласия. Нам припомнили наши философские искания и отступление от Плехановской ортодоксии. Плеханов, в то время далеко ушедший направо, дальше всех меньшевиков,—в отношении философских истолкований Маркса считался все еще неприкасаемым святым отцом.

И в этом случае я колебался, ибо находил много за и против в обоих направлениях. Я никогда не отличался фанатическим стремлением видеть только белое или только черное, и аргументы противника я всегда взвешивал (как и теперь) со всей внимательностью и об'ективностью, благодаря чему почти никогда не занимал какой-либо позиции с столь беззаветной решимостью, которая является лучшим украшением настоящего фанатизма. Но в общем и целом мне надоела меньшевистская думская канитель, меня раздражали философские нападки Ленина, мне казалось, главным образом, необходимым поддержать высокое настроение пролетариата, не дать угаснуть атмосфере мировой революции, которая, как мне казалось, мельчится этой мнимой практикой—вот почему я вскоре присоединился к группе «Вперед», организатором которой был Богданов.

Но здесь я несколько забегаю вперед и мне нужно вернуться к эпохе выборов во вторую Государственную Думу.

Кандидатов от Петербурга у партии не было никаких, в виду всевозможных затруднений, которые ставил самый избирательный закон. Перед тем, как выставлять кандидатуру Алексинского, который с этою целью переведен был корректором, и, таким образом, был рабочим типографии,—толковалось также о моей кандидатуре, ибо я, повидимому, ни с какой стороны не должен был встретить предусмотренных законом препятствий.

Думаю, что именно по этому судебные власти поторопились представить мне обвинительный акт.

Сделать это было вообще чрезвычайно легко, ибо деятельность свою я вел совершенно открыто, и, в отличие от других товарищей, даже не под псевдонимом.

Партийная работа в то время была довольно широка. Между прочим, на новый год (1906), как раз в канун его, я был арестован на рабочем собрании и просидел 1½ месяца в «Крестах». За это время я написал свою драму «Королевский брадобрей». Дело могло повернуться очень плохо, так как преступлений на мне было сколько угодно.

Но относительно собрания, на котором я был арестован, я сделал заявление, что присутствовал на нем с

информационными целями, как член редакции журнала «Образование», каким действительно состоял в то время.

Через 1½ месяца меня выпустили. Я как ни в чем не бывало продолжал свою деятельность. Главным образом, она выразилась в лекциях. Чем дальше, тем больше эти лекции приобретали характер философский. Я решился даже открыть целый курс по истории религии. Читал я свои лекции в высших учебных заведениях, главным образом, в Политехникуме. В дни лекций в Политехникум отправлялись перегруженные трамваи, и большой зал Политехникума бывал всегда битком набит народом. После моих рефератов часто шли жгучие дискуссии. Более или менее постоянными участниками их являлись: Столпнер и священ. Агеев,—раза два выступал Григорий Петров, тогда еще священник.

За слушание лекций взималась довольно высокая плата в пользу Петроградского Комитета нашей Партии. Я заработал для Комитета этими лекциями что-то около 10 тысяч рублей. Однако, не эти мои, весьма преступные, с точки зрения развивавшихся в них идей, и весьма громкие лекции и не моя агитационная работа, на которой я сорвался было 31-го декабря 1905 года, а моя литературная работа, и притом в совершенно случайной ее части, послужила основанием моего «дела». Оно было возбуждено специально, чтобы парализовать во мне весьма вероятного кандидата во вторую Думу.

Алексинский был известен гораздо меньше, чем я. С известным правом можно было сказать, что, выбивая меня из строя, окончательно лишали большевиков права иметь в думе какого-либо настоящего лидера.

Обвинительный акт был построен на моем предисловии к брошюре Каутского, в котором я говорил о русском правительстве, как об организации приказчиков западно-европейского капитала, обязанной выколачивать из страны колоссальный доход для западной биржи.

Обвинительный акт был составлен таким образом, и прецеденты были так ясны, что приглашенный мною для совещания адвокат Чекеруль-Куш посоветовал мне немедленно эмигрировать. Стояло вне всякого сомнения, что я буду осужден на длительное тюремное заключение.

Между тем, я не был арестован. Я совещался с наиболее близкими мне партийными товарищами, и мы постановили, что мне действительно необходимо уехать. Это было зимою 1906 года.

К этому времени обстоятельства повернулись так худо, что уже почти никто из партийных товарищей-главарей не жил легально. Они ютились в Финляндии. Пресса наша была задушена.

Выехал я без семьи через Финляндию. На Финляндском вокзале не было никаких препятствий, похоже было даже на то, что меня пропускали нарочно, ибо дело шло не столько о моем заключении, сколько о том, чтобы отстранить меня от думской политической работы.

В Гельсингфорсе я прожил несколько дней у тов. Смирнова и затем, абсолютно без всякого паспорта, выехал из Ганге на Копенгаген. Первое время моего пребывания за границей (в Италии) я не принимал почти никакого участия в политической работе. Я сидел над моей книгой «Религия и социализм», которой придавал очень большое значение. Я и сейчас отнюдь не отказываюсь от такой оценки этой книги, хотя думаю, что время для второго ее издания не пришло. В то время, как книга эта писалась, и после того, ее многие принимали чуть ли не за признак реакции. Г. Плеханов, извращая некоторые цитаты, вплоть до прямого искажения слов, и идя прямо против всего смысла книги, проповедывавшей религию трагическую, активную, без всякого оттенка «веры» или «мистики»,—упрекал меня в том, что я устраиваю на свой фасон «утешительную душегрейку» для интеллигенции!

Между тем, я не только ясно сознавал, что надо положить препону растущему религиозному влечению и ввести его в законное русло, но и для будущего считал необходимым придать большую эмоциональную широту марксизму, не изменяя ни на один волос его подлинный дух.

Эта моя работа встречала и горячее сочувствие. Сейчас ее нет больше в продаже. Теперь она нуждалась бы в некотором коренном научном пересмотре, для которого у меня нет времени. Придет еще момент, когда это станет необходимым.

Идеи, заложенные в этой книге, будут играть не маловажную роль, когда от разрушения, мы перейдем к строительству, когда начнем закладывать первый этаж пролетарской культуры.

Вскоре, однако, политические бури вновь коснулись меня. Это уже не были те вьющиеся над всем русским миром революционные бури. Это были более или менее резкие порывы ветра в наших эмигрантских заливах и бухтах.

Креп наш раскол, о котором я уже говорил, по поводу участия в Думе. Отношения между Богдановым и Лениным на этой почве стали совершенно нестерпимыми. Наконец, в Ц. К. произошел разрыв.

Разрыв среди большевиков шел по линии, которую я выше наметил, но в то же время такой же разрыв начался среди меньшевиков. Появилось так называемое ликвидаторство с его проповедью абсолютной легализации всей деятельности и отвратительно отрицательным отношением к «подполью».

Среди меньшевиков наиболее страстно выступал против ликвидаторства Плеханов. Этот протест Плеханова против крайних правых меньшевиков сделал возможным сближение его с Лениным, боровшимся в то время против нас, как крайних левых большевиков.

Тов. Иннокентий сделался главным инспиратором политики сильного центра против флангов. Тов. Троцкий, отошедший в то время от меньшевиков и организовавший свою собственную группу, был также за об'единение на этих началах, но он старался сохранить известные отношения с обоими флангами в то время, как Мартов ясно тянул направо.

На пленуме Ц. К. меньшевики-мартовцы и большевики-ленинцы выбросили из партии ликвидаторов и, признав нашу группу партийной, в то же время исключили ее представителей из Ц. К.

Время, по правде сказать, довольно неприятной борьбы между ленинцами и богдановцами было скрашено нашей первой партийной школой, которую мы организовали на Капри. Как-нибудь надо будет более подробно описать события, связанные с моей дружбой с А. М. Горьким, а вместе с тем, со всею этой очень оригинальной, по-своему красочной, и давшей хорошие результаты, школой. Здесь

же в этом кратком предисловии к мемуарам, посвященным великой революции, как таковой, придется сказать об этом только несколько беглых фраз.

Своим возникновением каприйская школа вдвойне обязана замечательному человеку—М. Вилонову. Он был родоначальником ее идеи, и он же был главным организатором. Надо прибавить, однако, к этому, что им же нанесен был каприйской школе сильный удар, отчасти дезорганизовавший ее. Тов. Вилонов, уральский рабочий, приехал на Капри по настоянию и на средства организации, к которой принадлежал, чтобы спастись от грызшей его чахотки. Натура необыкновенно могучая и психически и физически—тов. Вилонов нажил чахотку в результате жестокого избиения, которому был подвергнут после побега из Уфимской тюрьмы.

Вскоре после своего приезда он приобрел большое уважение и дружбу со стороны живших в то время на Капри Горького и Богданова, равно как и с моей стороны.

Неугомонный организатор, Вилонов, едва оправившись от своей болезни под влиянием каприйского климата, который оказался ему благоприятным,—начал поговаривать о возможности привезти тем же путем, как ехал он, несколько десятков избранных рабочих на Капри и здесь, в очаровательном и тихом уголке Европы, устроить партийный университет, из которого месяца через 4 можно было бы вернуть в Россию более или менее просвещенных политических товарищей.

Идея сначала показалась фантастической, возражения приходят в голову очень легко против подобного плана. Но, с одной стороны, идея Вилонова, с другой стороны—наша жажда увидеть подлинных русских пролетариев и поработать с ними—превозмогли препятствия.

На партийные средства, при значительной поддержке М. Горького, решено было основать эту школу.

М. Вилонов, рискуя арестом и смертью, в виду все еще крайне тяжелого состояния своего здоровья, лично отправился в Россию за рабочими.

Через некоторое время, летом 1910 г. Вилонов вернулся с 20 рабочими, выбранными различными организациями в разных концах России. Среди них оказались люди разного уровня, иные были простыми рабочими середняками, другие, наоборот, отличались блестящими способно-

стями. Быть может, эта разница уровней была одним из самых трудных обстоятельств нашей школы. Преподавателями ее являлись: М. Горький, Ал. Богданов, Алексинский, я, Лядов, Десницкий-«Строев».

Я преподавал историю германской социал-демократии, теорию и историю профессионального движения, вел практические занятия по агитации, а к концу прочел еще курс всеобщей истории искусства, который, как это ни странно, имел наибольший успех у рабочих и окончательно скрепил мою тесную с ними дружбу. Могу, не хвастаясь, сказать, что из всех профессоров я наиболее глубоко сошелся с рабочими; отчасти этому способствовало то, что я жил и питался вместе с ними, отчасти влияние моей жены, которая приобрела на всю жизнь несколько горячих друзей из числа каприйских учеников.

Занятия в школе шли хорошо, слушатели были проникнуты энтузиазмом. Практические занятия часто приобретали оригинальный и захватывающий характер.

Тем не менее, о каприйской школе приходится вспоминать также и не без горечи. Дело в том, что наши ближайшие соседи—большевики-ленинцы, не без основания, рассматривали школу, как попытку группы «Вперед» упрочиться и получить могучую агентуру в России.

Ц. К. решил поэтому поставить все на карту, чтобы по возможности разрушить каприйскую школу. В течение всего времени ее существования велась, в виду этого, своеобразная политическая борьба. В школе был талантливый рабочий, по прозвищу «Старовер», который открыто являлся в нашей среде «агентом» Ленина.

По мере того, как дело подходило к концу, и мы занялись выработкой нашей политической декларации—выяснилось, что не все 20 человек учеников стоят на «впередовской» точке зрения. Правда, кроме «Старовера», примкнувшие к ленинцам представляли собой и количественно и качественно ничтожную группу, но беда заключалась в том, что пошатнулся сам Мих. Вилонов.

Нельзя сказать, чтобы он прямо примкнул к большевикам «умеренного толка», но ему казалось, что будущее всего выводка первой партийной школы омрачается перспективой борьбы в своей собственной большевистской среде.

Эта примиренческая позиция Вилонова вызвала целую грозу над ним. Богданов, Алексинский об'явили его буквально изменником. Теперь, когда я оглядываюсь назад, я считаю такое отношение к Вилонову крайне несправедливым. Мне даже кажется, что он был политически мудрее нас, защищая даже не столько слияние крайнего левого крыла с центром, сколько известное соглашение с ним для единой политической борьбы.

Но страсти в то время были в большом разгаре. Приемы, к которым прибегали сторонники Ленина, были довольно грубы, а подчас довольно вероломны, и все это создало атмосферу такой взаимной нетерпимости, что казалось не только меньшевики, но любой анархист или эсер были нам ближе, чем большевики «умеренного толка».

Вилонов с ленинцами уехали в Париж, а остальные отправились в Россию.

Судьба наших учеников была различна. Наиболее прочным учеником оказался позднейший организатор болонской школы тов. Аркадий—Ф. И. Калинин, ныне член коллегии Наркомпроса, советский партийный работник, пользующийся со всех сторон глубочайшим уважением. Замечательным борцом за социализм оказался также тов. Косарев, бывший потом председателем томского Губисполкома, в настоящее время один из виднейших деятелей Московского Комитета Партии. Быть может, самый блестящий после Вилонова ученик каприйской школы тов. Яков далеко ушел от нас в меньшевизм. Последняя встреча моя с ним была на демократическом совещании, созданном Керенским и его друзьями, где он в буквальном смысле слова с пеною у рта набросился на меня за мою непримиримую революционную позицию.

Я думаю, однако, что этот выдающийся человек, который поражал нас в то время широтою своих способностей, вернется еще в ряды подлинной революционной армии.

Вскоре после окончания каприйской школы должен был собраться международный Копенгагенский с'езд. На предшествовавшем Штутгардтском с'езде тотчас же после моего приезда за границу (1907 г.) я участвовал в качестве представителя большевиков, и участие мое там было весьма активным: я был избран в едва ли не самую существенную комиссию этого конгресса по выработке взаимоотношений между партией и профессиональными союзами.

Именно благодаря мне большевики сошли со своей слишком узкой позиции подчинения профессиональных союзов партии и слили свои тезисы с тезисами Дебрукера, стоявшего в то время на синтетической точке зрения необходимости рассматривать их рядом с партией, как второе, одинаково существенное оружие рабочего класса в борьбе за социализм.

Стоя на этой позиции, я делал доклады в русской секции и в комиссии, причем бороться приходилось мне, главным образом, с Плехановым, стоявшим одновременно на точке зрения нейтрализма профессиональных союзов и на точке зрения пренебрежения к ним, как революционному орудию.

В результате этой моей работы появился мой этюд по этому вопросу, напечатанный затем в заграничном журнале «Радуга». В то время кое-кто из товарищей-большевиков упрекал меня за эту уступку «синдикализму», но будущее показало, что моя линия тогда была правильной. Я не хочу сказать, конечно, что именно я определил дальнейшую политику большевиков по отношению к профессиональным союзам, но в то время проповедывавшаяся мною точка зрения была еще довольно нова и в нашей собственной среде проходила не без борьбы. Очень сильную поддержку оказал в то время тов. Базаров, а тов. Ленин с обычной ясностью ума сразу воспринял все положительные черты ее.

В связи с этой моей работой на Штутгардтском конгрессе казалось естественным, чтобы я представлял партию также и на Копенгагенском с'езде; группа «Вперед» дала мне для этого мандат.

Но в этот раз мы уже были расколоты, и я ехал в Копенгаген скорей врагом, чем другом моих недавних ближайших товарищей.

Не доезжая Копенгагена, уже в Дании, мы встретились с Лениным и дружески разговорились. Благодарение судьбе—мы лично не порвали отношений и не обостряли их так, как те из нас, которым приходилось жить в одном городе.

Из краткого обмена мнений выяснилось, что почти по всем вопросам копенгагенской программы мы стоим на близкой точке зрения. Моя задача была—по вопросу об отношении партии и кооперативов—провести точку зре-

ния параллельную Штутгардтской, относительно профессиональных союзов я лелял мечту, что на Венском конгрессе удастся закончить это строение, точно установив равноправное место среди орудий борьбы пролетариата и за культурно-просветительной его организацией.

Об этом я, конечно, с Лениным не говорил, относительно же кооперативов у него было много сомнений. Он довольно легко сбивался на точку зрения презрительной недооценки их, характеристики их, как лавочек, и т. п. Я отнюдь не думал, что кооператив может быть признан равноценным движению политическому и профессиональному, но я считал, что он должен рассматриваться, как орудие социалистической борьбы, что ему должно быть отведено место в революционной активности пролетариата и что в связи с этим за ним надо признать, при глубокой духовной зависимости от центральных идей социализма, широкую автономию по отношению к партии и профессиональным союзам.

И в этот раз оказалось, что моя точка зрения ближе всего подошла к бельгийской, по крайней мере, к той, которую защищали передовые бельгийцы.

Отношения мои к ленинцам оказались настолько превосходными, что, несмотря на опубликованный мною в журнале «Репрес» большой памфлет против большевиков, они не только не препятствовали признанию моего мандата, но даже выбрали меня официальным представителем сначала в комиссию по кооперативам, а потом и в подкомиссию, где мне пришлось в необыкновенно высокой компании: Жорес, Вандервельде, фон-Эльм и проч. окончательно вырабатывать резолюции.

И тут, как в Штутгарде, не столько, конечно, благодаря моему влиянию, сколько, благодаря правильно понятой позиции, окончательные результаты С'езда почти полностью совпали с теми резолюциями, которые были приняты большевистской фракцией по моему докладу.

В результате я приобрел даже некоторую популярность среди кооператоров, так, что они пригласили меня почетным гостем с решающим голосом на международный с'езд кооперативов в Гамбурге, имевший место тотчас по окончании конгресса в Копенгагене.

К сожалению, завязавшиеся, таким образом, короткие отношения с ленинцами не были прочны, ибо остальные

члены нашей группы (особенно тов. Алексинский) о таком сближении не хотели ничего и слышать.

Впрочем, на некоторое время я отошел от политической работы, потому что меня постигло большое семейное несчастье: умер мой ребенок,—и в связи с этим и рядом других обстоятельств, о которых я сейчас не буду ничего говорить, я покинул окончательно Капри и пространствовал некоторое время вместе с моей женою по разным местам Италии.

Между тем, несмотря на некоторую неудачу опыта с каприйской школой, решено было этот опыт повторить. Средства для второй школы были даны, главным образом, уральскими рабочими, которые составили половину учеников этой новой школы.

После некоторых колебаний решено было организовать ее в тихом, но достаточно богатом научными рессурсами городе Болонье. Болонская школа в гораздо большей мере лежала на моих плечах, чем школа каприйская: она была создана к зиме 1911 года. Ученики, собранные на этот раз тов. Аркадием (Ф. Калининым), были по своему качеству несколько ниже каприйских, но и тут было, тем не менее, несколько выдающихся людей, из коих отмечу тов. Гл. Авилова, ныне члена президиума Всероссийского Совета Профессиональных Союзов, занимавшего также одно время пост Народного Комиссара почт и телеграфов.

В числе преподавателей были частью старые (кроме Горького, который не смог приехать в Болонью), частью новые, а именно: Ал. Мих. Колонтай и тов. Троцкий, внесший очень много оживления в школу.

С огромным интересом были также прослушаны лекции тов. Павловича. Читал и П. П. Маслов.

Из этого уже видно, что болонская партийная школа стояла на менее исключительно «впередовской» точке зрения.

Успех этой школы вызвал подражание со стороны ленинцев, которые по окончании болонской школы пригласили всех учеников в Париж на дополнительные курсы (из чего, впрочем, ничего не вышло), а потом предполагалось сорганизовать в Париже, в подражание нам, свою собственную школу (из чего тоже ничего не вышло).

Мы в этом отношении оказались лучшими организаторами, а главное лучшими преподавателями, что, впрочем,

об'ясняется как раз значительным недостатком группы «Вперед»: в ее рядах было мало коренных политиков, все мы—Богданов, я, Покровский, даже Алексинский, еще более Горький, были скорей теоретиками, людьми социалистической книги и мысли.

Повторяю, болонская школа далась мне гораздо труднее каприйской: я считался как бы официальным ее директором, ибо один только хорошо говорил на итальянском языке, сносился по всем организационным делам со всеми властями и, можно сказать, размещал, лечил, кормил учеников столько же, сколько учил их.

Между тем, я читал им также большой ряд лекций, опять таки историю германской социал-демократии, затем историю великой французской революции и историю русской литературы.

Кроме того, я посещал с ними музеи в Болонье, а позднее в Париже, как, впрочем, и с каприйскими учениками мне удалось посетить музеи Неаполя и Рима.

По окончании болонской школы группа «Вперед» постановила вызвать меня из Италии и перевести в Париж для более постоянной политической работы. Мы затеяли в то время усилить нашу литературную и практическую деятельность.

Мое пребывание в Париже от конца 1911 г. по 1915 г. было посвящено довольно многосторонней деятельности. Во-первых, я сделался постоянным корреспондентом трех русских периодических изданий, именно: «Киевской Мысли», «Дня» и «Вестника Театра». Я предполагаю переиздать в настоящее время часть моих статей, накопившихся за этот четырехлетний промежуток. Их очень много, они написаны на самые разнообразные темы и я уверен, что, будучи изданы вместе, они покажут, что являлись не простыми статьями газетчика, а большой работой по анализу западно-европейской культуры, в особенности французской.

Одновременно с этим я писал довольно большое количество статей в ежемесячных журналах и различного рода сборниках.

Помимо литературной работы я основал кружок пролетарской культуры, в котором работал целый ряд выдающихся пролетарских писателей: были там и Павел Бессалько и поэт Герасимов, и Гастев, и Калинин, и мн. друг.

Я читал также лекции для рабочих по истории всемирной литературы и огромное количество рефератов, как в Париже, так и в русских колониях—Швейцарии, Германии и Бельгии.

Деятельность моя заставляла меня несколько разбрасываться, но все же она давала гораздо больше удовлетворения, чем политическая работа, как таковая.

К этому времени Ленин и его группа окончательно разошлись с меньшевиками. Мы были отделены очень глубокими политическими разногласиями от меньшевиков, однако, мы выступили против партийного раскола и странным образом оказались ближе к левому крылу меньшевиков, чем к свирепым раскольникам-ленинцам.

В общем же политические ситуации как-то перепутались, линия, отграничившая нас, стерлась, и часто позиция наша была как бы несколько искусственной. Это относится, впрочем, ко всем эмигрантским группам.

Хуже было то, что внутри группы «Вперед» опять пошел разлад. После короткой, но довольно тяжелой распри между Богдановым и Алексинским—первый покинул группу «Вперед», и после этого Алексинский развил до кульминационного пункта свои выдающиеся способности деворганизатора: ему удалось постепенно поссориться и отколоть от нас тов. Менжинского, Покровского и в конце концов самым нелепым и довольно гнусным образом порвать также и со мной.

Группа вовсе исчезла бы с лица земли, если бы ее женевская часть, очень прочная, включавшая в себя несколько преданных «впередовцев», не спасла ее. Эта женевская группа (т.т. Миха, Лебедев-Полянский и др.) усилилась, конечно, с моим переездом в Швейцарию и донесла впередовское знамя до великих дней слияния всех левых групп бывшей социал-демократической партии в единую великую Коммунистическую партию.

Сближение группы «Вперед» с большевиками и вообще сплочение левого фланга произошло в результате войны.

Об'явление войны я пережил еще в Париже, но сейчас же после этого мы с семьей поехали в Бретань, в маленький город Сен-Бревен, против города Сен-Назера. Там мы поселились на даче. Колебания мои в политическом отношении были недолги. Конечно, живя во

Франции, испытываешь некоторое влияние той страны, судьбы которой на тебе непосредственно отражаются и определенным образом волнуют всех тебя окружающих.

Несмотря на разные ненавистные поступки германской армии, я очень быстро обрел равновесие и стал на решительную интернационалистскую позицию.

Осенью я вернулся в Париж и нашел там готовую почву. На одном митинге русских эмигрантов, на котором определялись наши отношения, мы выступили вместе с Черновым, как интернационалисты. На этом и подобных собраниях определилось, что и социал-демократы, и эсеры распались пока только на два очень заметных лагеря: лагерь интернационалистов-сторонников об'явления во что бы то ни стало всеобщей социальной революции против всех правительств,—и националистов, всеми правдами и неправдами прикрывавших свой национализм, но фактически бывших определенными сторонниками англо - франко - русского правительственного союза.

В качестве корреспондента «Киевской Мысли» я старался просочить кое-как наш яд и в Россию и вместе с тем воспользоваться моим положением журналиста, чтобы побывать в Сент-Адресе, с одной стороны, т.-е в резиденции Бельгийского правительства, а, с другой стороны, в Бордо, где жило французское правительство.

Там я вел длинные разговоры с Гедом и Самба, которые глубже убедили меня в колоссальной ошибочности, так называемого, революционного патриотизма.

Мы кокетничали некоторое время, всетаки, с нашими «вождями», и газета «Наш Голос», которую начали издавать в то время тов. Мануильский и т. Антонов (люди, которые позднее сыграли крупную роль в русской революции, один, как дипломат, другой, как полководец), не решилась резко наметить линии.

Это возмущало меня, и именно я первый напечатал статью против Плеханова, где ясно доказывал, что расстояние между нами и Плехановым гораздо больше, чем между нами и хотя бы меньшевиками-интернационалистами.

Сначала редакция очень смутилась и даже написала какое-то бормотание, извинившись за эту статью, но повднее сама вступила на этот же путь.

В разных партиях раскол сложился разно: у нас он пошел к быстрому сближению между впередовцами и большевиками.

Кроме того, вскоре приехал Троцкий, который вместе со всей группой «Правда», с коей мы, впередовцы, поддерживали вообще всегда добрые отношения, влился в журнал «Наше Слово».

Редакция его расширилась и превратилась в главный штаб интернационалистов. В нее вошли: Мануильский, Антонов (организаторы журнала), Лазовский (ныне один из руководителей профессионального движения), Троцкий, я и Мартов.

«Наше Слово» было крупнейшим для Франции, а пожалуй и для Европы центром интернационализма. Другим центром являлся Ц. К. партии большевиков, то-есть фактически Ленин и Зиновьев в Швейцарии.

Но в то время, как в нашем лагере происходило быстрое сближение и лозунг борьбы за интернационал, при этом обновленный и ярко революционный, прикрывал собою наши разногласия, у меньшевиков было не то. Мартов, хотя и вошел в редакцию «Нашего Слова», но всячески уклонялся и скользил из рук, когда я ставил вопрос с особой остротой. Я выдвинул лозунг, который поддержала вся редакция «Нашего Слова»: рвать с оборонцами и смыкаться по линии интернационализма, независимо от других оттенков. Но Мартов рвать со своими оборонцами не хотел, старое знамя меньшевизма оказалось для него слишком дорогим.

Это политически и погубило его.

При всех своих блестящих способностях Мартов смог только от времени до времени подниматься и сверкать своим тонким политическим умом, но потом вновь шел ко дну, потому что его всегда тянуло в бездну это несчастное пристрастие к меньшевистскому знамени, как таковому.

Надо надеяться, что это не протянется вечно, и что Мартов, принадлежащий, несомненно, к группе наших первоклассных политических вождей и мыслителей, окажется еще полезен для революции. Пока он более вреден для нее.

Этот вопрос был для нас одним из мучительных и рядом с героическими атаками на всякого рода патрио-

изм, атаками, которые были бесконечно трудны в обстановке французского испута и угара, мы тратили много времени на то, чтобы убедить меньшевиков-интернационалистов отколоться от своей партии и примкнуть к нам.

Менее интересовали нас судьбы эсеров. С эсерами интернационалистами (черновцами) мы не прочь были заключить теснейший союз. Но союз этот, тем не менее, не состоялся, мы так сказать не успели его наладить,— он нам не казался политически настолько важным.

В среде же самих эсеров раскол был явный и повел он не по позднейшей линии правых и левых эсеров, а по линии патриотов и интернационалистов, как у нас. Причем во главе левой фракции стоял Чернов.

Я не был ни на Циммервальдском, ни на Кинтальском совещании, но и «Наше слово», и «Вперед» примкнули сразу к этим об'единениям, притом именно к их левому крылу. Это еще более сблизило нас с ленинцами. Когда я переехал в Швейцарию, руководимый тою мыслью, что именно в Швейцарии, где доступна всякая литература со всех сторон и легче всего следить за войной — я сразу явился к Ленину и Зиновьеву с предложением самого полного союза.

Соглашение между нами состоялось без всякого труда. Группа «Вперед», женевская ее часть, не была об'явлена распущенной, но мы решили вести одну политическую линию. К этому союзу в значительной мере примкнул также и тов. Рязанов. Вообще в Швейцарии создалось сильное течение интернационалистов и на всех митингах мы получали решительное преобладание.

Мало того, я решился выступать и с речами на французском языке: в Женеве, в Лозанне мне удавалось читать интернационалистские рефераты или говорить интернационалистские речи, причем рабочие воспринимали их порою с бурным энтузиазмом, но странным образом даже буржуазия относилась к этим моим выступлениям с известной симпатией, хотя я иногда гладил ее против шерстки.

Я должен сказать, что пребывание мое в Швейцарии в течение двух лет 1915—1916 г.г. оставило во мне самые приятные воспоминания, но не в силу политической ситуации.

Война создала мрачные условия, успехи нового интернационала были медленны, почти жалки. Казалось, что какое-то безумие овладело человечеством, и мы сами чувствовали себя в значительной степени бессильными.

Я ни на минуту не покидал политической позиции: я все время продолжал устную и письменную борьбу за интернационал. Однако, обе газеты, в которых я участвовал: «День» и «Киевская Мысль», под благовидными предлогами отказались от столь опасного сотрудника.

Пожалуй, я с семьей мог бы, при существовавшей тогда дороговизне, совсем помереть с голоду, но к этому времени я получил небольшое наследство и при поддержке моего друга Кристи (определившегося тогда, как мартовец, а сейчас нашего союзника, занимающего в Наркомпросе довольно высокий пост) я перемогался. Живя около города Веве, на даче, мое свободное время я расходовал на усиленные занятия. Я занимался швейцарской литературой и особенно великим поэтом Шпителлером. Эти занятия, в результате которых получилось много еще неизданных переводов Шпителлера, имели на меня очень большое влияние, но о себе,как о поэте, мне говорить здесь нечего. Скажу только, что мне и моим друзьям кажется, что те три драмы, которые мне удалось написать уже во время революции, прямо или косвенно останутся (во всяком случае независимо даже от большей или меньшей их художественности) любопытным памятником. Они носят на себе печать влияния К. Шпителлера.

Поэтические занятия мои я считал подготовкой к той работе, которую придется, может быть, когда-нибудь сделать, которую, может быть, я уже и начал, к работе художественного синтезирования революционных эмоций.

Но значительно удивительней может показаться читателю, что в то время, в глубине военного, кровью заполненного, рва и казалось бы без всяких особенных просветов надежды, — я интуитивно уверился, что в близком будущем предстоит нам революция, что она призовет меня на какой-нибудь ответственный пост, и что пост этот будет иметь отношение к народному просвещению.

В силу чего, в течение этих двух лет я обложился всякими книгами по педагогике, об'езжал народные дома Швейцарии, посещал новейшие школы и знакомился с крупными новаторами в области воспитания. Полушутя

я часто говорил моей семье или моим друзьям Кристи: мне кажется, что я фатально обречен быть в недалеком будущем министром народного просвещения в России.

Мы сейчас часто вспоминаем это мое «пророчество». Оно вытекало, конечно, из инстинктивно верной оценки положения.

Политические ситуации были мне хорошо известны, и приблизительный рисунок дальнейших событий вырисовывался сквозь туман разных возможностей. Между тем, подходы к русской революции были для нас мало ясны, и известие о перевороте поразило нас, как громом. Тотчас же начали мы готовиться к от'езду в Россию, но началась целая длинная неприятная эпопея борьбы нашей с Антантой, которая ни за что не хотела пропустить революционеров интернационалистов на их родину.

Убедившись окончательно, что это невозможно, мы стали взвешивать мысль, которая в первую минуту показалась нам чудовищной, но которая отнюдь не испугала Ленина, мысль о возвращении в Россию через Германию.

Но возвращение это уже прямо относится к моим воспоминаниям, с него то я и начну их и поэтому могу здесь окончить эту вступительную главу.

Мне кажется удобным предпослать изложению событий, которых я был очевидцем и участником и которые будут занимать такое видное место в истории человечества, попытку охарактеризовать наиболее крупных вождей движения, как вошедших позднее в коммунистическую государственную группу, так и оставшихся за ее бортом.

К этому я и приступлю теперь.

ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН.

Я плохо знаю биографию Ленина и поэтому не буду пытаться здесь восстановить ее, так как для этого найдется, конечно, не мало других источников. Я буду говорить только о тех отношениях, которые непосредственно у меня с ним были, и о тех наблюдениях, которые я непосредственно производил.

В первый раз я услышал о Ленине после выхода книжки «Тулина» от Аксельрода. Книжки, я еще не читал, но Аксельрод мне сказал: «теперь можно сказать, что и в России есть настоящее социал-демократическое движение и выдвигаются настоящие социал-демократические мыслители».—«Как?—спросил я,—а Струве, а Туган-Барановский?» — Аксельрод несколько загадочно улыбнулся (дело в том, что раньше он очень высоко отзывался о Струве) и сказал мне: «Да, но Струве и Туган-Барановский—все это страницы русской университетской науки, факты из истории эволюции русской ученой интеллигенции, а Тулин — это уже плод русского рабочего движения, это уже страница из истории русской революции».

Само собой разумеется, книга Тулина была прочитана за границей, где я в то время был (в Цюрихе), с величайшей жадностью и подверглась всяческим комментариям.

После этого до меня доходили только слухи о ссылке Ленина, о его жизни в Красноярске с Мартовым и Потресовым.

Ленин, Мартов и Потресов казались совершенно неразлучными личными друзьями, с одинаковой окраской, чисто русскими вождями молодого рабочего движения.

Странно видеть, какими разными путями пошли эти «три друга!»

Книга Ленина по истории русского капитала произвела на меня гораздо меньшее впечатление. Я, конечно, сознавал ее статистическую солидность, талантливость и большой политический интерес, который она представляла, но я как раз меньше всего интересовался подробным цифровым доказательством развития капитализма в России, так как для меня лично факт этот был бесспорен, а в моей пропагандистской и агитационной деятельности пером и словом—экономические вопросы занимали самое последнее место.

Я был в ссылке, когда до нас начали доходить известия о втором С'езде. К этому времени уже издавалась и окрепла «Искра». Во время разрыва «Искры» с «Рабочим Делом», хотя кое-кто из моих друзей, например, Ник. Аносов резко стоял на стороне «Рабочего Дела» — я лично, не колеблясь, об'явил себя искровцем. Но самую «Искру» знал я плохо: номера доходили до нас разрозненно, хотя все же доходили.

Во всяком случае, у нас было такое представление, что к нераздельной троице: Ленин, Мартов и Потресов также точно интимно припаялась заграничная троица: Плеханов, Аксельрод и Засулич.

Поэтому известие о расколе на 2-м С'езде ударило нас, как обухом по голове. Мы знали, что на 2-м С'езде будут последние акты борьбы с «Рабочим Делом», но, чтобы раскол прошел такой линией, что Мартов и Ленин окажутся в разных лагерях, а Плеханов «расколется» пополам — это нам совершенно не приходило в голову.

Первый параграф устава? — Разве стоит колоться из-за этого. Размещение кресел в редакции?—да что они, с ума там сошли, за границей.

Мы были скорей всего возмущены этим расколом и старались, на основании скудных данных, которые доходили до нас, разобраться, в чем же тут дело? Не было недостатка и в слухах о том, что Ленин, склочник и раскольник, во что бы то ни стало хочет установить самодержавие в партии, что Мартов и Аксельрод не захотели, так сказать, присягнуть ему в качестве всепартийного хана.

Но этому в значительной мере противоречила позиция

Плеханова, как известно вначале весьма дружественная и союзная с Лениным.

Вскоре, впрочем, Плеханов переметнулся на сторону меньшевиков, но это уже всеми было принято в ссылке (не только Вологодской, думаю) как нечто дурно характеризующее Георгия Валентиновича. Такие быстрые перемены позиции не в авантаже у нас, марксистов.

Словом, мы были до некоторой степени в ночи. Я должен сказать, что русские товарищи, поддержавшие Ленина, тоже несовсем точно представили себе, в чем дело. Самую могучую поддержку, несомненно, оказал ему А. А. Богданов, если говорить о личностях.

В этой плоскости присоединение Богданова к Ленину имело, можно сказать, решающее значение. Не присоединись он к Ленину — дело пошло бы, вероятно, гораздо медленней.

Но почему Богданов присоединился к Ленину? — Он понял борьбу, разразившуюся на С'езде, во-первых, как борьбу за дисциплину, — раз за формулы Ленина голосовало как никак большинство (хотя 1 голос), то меньшинство должно было подчиниться, — а, во-вторых, как борьбу русской части партии против заграничников. Ведь вокруг Ленина не было ни одного именитого имени, но зато почти сплошь приехавшие из России делегаты, а там, после перехода Плеханова, собрались все заграничные божки.

Богданов несовсем точно воспроизвел картину так: заграничная партийная аристократия не желает понять, что у нас теперь действительно партия и что прежде всего надо считаться с коллективной волей русских практических работников.

Несомненно, что эта линия, вылившаяся, между прочим, в лозунг: — единый центр и при том в России — подкупающе действовала на многие русские комитеты, в то время довольно густою сетью раскинувшиеся по России.

Вскоре сделалось известным, среди кого имеет успех та или другая линия. К меньшевикам примкнуло большинство марксистской интеллигенции столиц, — они имели несомненный успех среди наиболее квалифицированных рабочих; к большевикам прежде всего примкнули именно комитеты, т. е., провинциальные работники—про-

фессионалы революции. И это была, конечно, главным образом, интеллигенция, несомненно другого типа — не марксиствующие профессора, студенты и курсистки, а люди—раз навсегда бесповоротно сделавшие своей профессией — революцию.

Главным образом, этот элемент, которому Ленин придавал такое огромное значение, который он называл бактерией революции, и сплотился вокруг Богданова в знаменитое Организационное бюро Комитетов Большинства, которое и дало Ленину его армию.

Богданов в то время уже окончил ссылку, побывал за границей. Я был совершенно убежден, что он должен был более или менее правильно разобраться в вопросах, и поэтому, отчасти из доверия к нему, тоже занял позицию, дружественную большевикам.

Еще раз напомню здесь, что по приглашению тогдашнего, ведшего соглашательскую линию, Ц. К. я ездил в Смоленск. Перед этим я виделся в Киеве с тов. Крыжановским, в то время игравшим довольно большую роль, близким приятелем тов. Ленина, однако колебавшегося между чисто ленинской позицией и позицией примиренчества.

Он-то и рассказал мне более подробно о Ленине. Характеризовал он его с энтузиазмом, характеризовал его огромный ум, нечеловеческую энергию, характеризовал его, как необыкновенно милого, веселого товарища, но в то же время отмечал, что Ленин прежде всего человек политический, и что, разойдясь с кем-нибудь политически,— он сейчас же рвет и личные отношения. В борьбе же, по словам Крыжановского, Ленин был беспощаден и прямолинеен.

И в то время, как мне рисовался соответственный довольно таки романтический образ,—Крыжановский прибавил: «а на вид он похож на ярославского кулачка, на хитрого мужиченку, особенно, когда носит бороду».

Едва после ссылки приехал я в Киев, как получил от Бюро Комитетов Большинства прямое предписание немедленно выехать за границу и вступить в редакцию центрального органа Партии. Я сделал это.

Напомню, что несколько месяцев я прожил в Париже, отчасти потому, что хотел ближе разобраться в разногласиях. Однако, в Париже я, всетаки, стал немедленно во

главе тамошней очень небольшой большевистской группы и стал уже воевать с меньшевиками.

Ленин писал мне раза два короткие письма, в которых звал торопиться в Женеву. Наконец, он приехал сам.

Приезд его для меня был несколько неожидан. Лично на меня с первого взгляда он не произвел слишком хорошего впечатления. Мне он показался по наружности своей как будто чуть-чуть бесцветным, а так—ничего определенного он не говорил, только настаивал на немедленном от'езде в Женеву.

На от'езд я согласился.

В то же время Ленин решил прочесть большой реферат на тему о судьбах русской революции и русского крестьянства.

На этом реферате я и первый раз услышал его, как оратора. Здесь Ленин преобразился. Огромное впечатление на меня и на мою жену произвела та сосредоточенная энергия, с которой он говорил, эти вперенные в толпу слушателей, становящиеся почти мрачными и впивающиеся, как бурава, глаза, это монотонное, но полное силы движение оратора, то вперед, то назад, эта плавно текущая и вся насквозь зараженная волей речь.

Я понял, что этот человек должен производить, как трибун, сильное и неизгладимое впечатление. А я уже знал, насколько силен Ленин, как публицист, — своим грубоватым, необыкновенно ясным, стилем, своим умением представлять всякую мысль, даже сложную, поразительно просто и варьировать ее так, что она отчеканилась, наконец, даже в самом сыром и мало привыкшем к политическому мышлению уме.

Я только позднее, гораздо позднее узнал, что не трибун, и не публицист, и даже не мыслитель — самые сильные стороны в Ленине, но уже и тогда для меня было ясно, что доминирующей чертой его характера, тем, что составляло половину его облика — была воля, крайне определенная, крайне напряженная воля, умевшая сосредоточиться на ближайшей задаче, но никогда не выходившая за круг, начертанный сильным умом, которая всякую частную задачу устанавливала как звено в огромной мировой политической цепи.

Кажется, на другой день после реферата мы, не помню по какому случаю, попали к скульптору Аронсону, с ко-

торым я был в то время в довольно хороших отношениях. Аронсон, увидев голову Ленина, пришел в восхищение и стал просить у Ленина позволения вылепить, по крайней мере, хотя медаль с него.

Он указал мне на замечательное сходство Ленина с Сократом. Надо сказать, впрочем, что еще больше, чем на Сократа, похож Ленин на Верлена. В то время Карьеровский портрет Верлена в гравюре вышел только что, и тогда же был выставлен известный бюст Верлена, купленный потом в Женевский музей.

Впрочем, было отмечено, что Верлен был необыкновенно похож на Сократа. Главное сходство заключалось в великолепной форме головы.

Строение черепа Владимира Ильича, действительно, восхитительно. Нужно несколько присмотреться к нему, чтобы вместо первого впечатления простой большой лысой головы оценить эту физическую мощь, контур колоссального купола лба и заметить, я бы сказал опять-таки, физическое излучение света от его поверхности.

Скульптор, конечно, отметил это сразу.

Рядом с этим более сближающие с Верленом, чем с Сократом, глубоко впавшие, небольшие и страшно внимательные глаза. Но у великого поэта глаза эти мрачные, какие-то потухшие (судя по портрету Карьера) — у Ленина они насмешливые, полные иронии, блещущие умом и каким-то задорным весельем. Только когда он говорит— они становятся, действительно, мрачными и словно гипнотизирующими. У Ленина очень маленькие глаза, но они так выразительны, так одухотворены, что я потом часто любовался их бессознательной игрой.

У Сократа, судя по бюстам, глаза были скорей выпуклые.

В нижней части опять значительное сходство, особенно, когда Ленин носит более или менее большую бороду. У Сократа, Верлена и Ленина борода росла одинаково, несколько запущенно и беспорядочно. И у всех трех нижняя часть лица несколько бесформенна, сделана грубо, как бы кое-как.

Большой нос и толстые губы придают несколько татарский облик Ленину, что в России, конечно, легко об'яснимо. Но совершенно, или почти совершенно такой же нос и такие же губы и у Сократа, что особенно бросалось в

глаза в Греции, где подобный тип придавали разве только фантастическим сатирам. Равным образом, и у Верлена. Один из близких к Верлену друзей прозвал его калмыком. На лице великого мыслителя, судя по бюстам, лежит именно прежде всего печать глубокой мысли. Я думаю, однако, что если в передаче Ксенофонта и Платона есть доля истины — то Сократ должен был быть веселым и ироническим, и сходство в живой игре физиономии было, пожалуй, с Лениным, большее, чем дает бюст. Равным образом, в обоих знаменитых изображениях Верлена преобладает то тоскливое настроение, тот декадентский минор, который, конечно, доминировал и в его поэзии, но всем известно, что Верлен, особенно в начале своих опьянений был весел и ироничен, и я думаю, опять-таки, что сходство здесь было большее, чем кажется.

Чему может научить эта странная параллель великого греческого философа, великого французского поэта и великого русского революционера?

Конечно, ничему. Она разве только отмечает, как одна и та же наружность может принадлежать, правда, быть может, приблизительно, равным гениям, но с совершенно разным направлением духа, а, во-вторых, дала мне возможность описать наружность Ленина более или менее наглядным образом.

Когда я ближе узнал Ленина, я оценил еще одну сторону его, которая сразу не бросается в глаза: это поразительную силу жизни в нем. Она в нем кипит и играет. В тот день, когда я пишу эти строки, Ленину должно быть уже 50 лет, но он и сейчас еще совсем молодой человек совсем юноша по своему жизненному тонусу. Как он заразительно, как мило, как по-детски хохочет и как легко рассмешить его, какая наклонность к смеху — этому выражению победы человека над трудностями! В самые страшные минуты, которые нам приходилось вместе переживать, Ленин был неизменно ровен и также наклонен к веселому смеху.

Его гнев также необыкновенно мил. Несмотря на то, что от грозы его, действительно, в последнее время могли гибнуть десятки людей, а может быть и сотни, он всегда господствует над своим негодованием и оно имеет почти шутливую форму. Этот гром, «как бы резвяся и играя, грохочет в небе голубом». Я много раз отмечал это внеш-

нее бурление, эти сердитые слова, эти стрелы ядовитой иронии и рядом был тот же смешок в глазах и способность в одну минуту покончить всю эту сцену гнева, которая как-будто сама разыгрывается Лёниным, потому что так нужно. Внутри же он остается не только спокойным, но и веселым.

В частной жизни Ленин тоже больше всего любит именно такое непритязательное, непосредственное, простое, кипением сил определяющееся веселье. Его любимцы—дети и котята. С ними он может подчас играть целыми часами.

В свою работу Ленин вносит то же благотворное обаяние жизни. Я никогда не скажу, чтобы Ленин был трудолюбив, мне никогда как-то не приходилось видеть его углубленным в книгу или согнувшимся над письменным столом. Пишет он страшно быстро, крупным размашистым почерком; без единой помарки набрасывает он свои статьи, которые не стоят ему никакого усилия. Сделать это он может в любой момент, обыкновенно утром, встав с постели, но и поздно вечером, вернувшись после утомительного дня, и когда угодно. Читал он все последнее время, за исключением, может быть, короткого промежутка за границей, во время реакции, больше отрывками, чем усидчиво, но из всякой книги, из всякой страницы он вынесет что-то новое, выкопает ту или другую нужную для него идею, которая служит ему потом оружием.

Особенно зажигается он не от родственных идей, а от противоположных. В нем всегда жив ярый полемист.

Но если Ленина как-то смешно назвать трудолюбивым, то трудоспособен он в огромной степени. Я близок к тому, чтобы признать его прямо неутомимым; если я не могу этого сказать, то потому, что знаю, что в последнее время нечеловеческие усилия, которые приходится ему делать, все-таки к концу каждой недели несколько надламывают его силы и заставляют его отдыхать.

Но, ведь, зато Ленин умеет отдыхать. Он берет этот отдых, как какую-то ванну, во время его он ни о чем не хочет думать и целиком отдается праздности и, если только возможно, своему любимому веселью и смеху. Поэтому из самого короткого отдыха Ленин выходит освеженным и готовым к новой борьбе.

Этот ключ сверкающей и какой-то наивной жизненности составляет рядом с прочной шириною ума и на-

пряженной волей, о которой я говорил выше,—очарование Ленина. Очарование это колоссально: люди, попадающие близко в его орбиту, не только отдаются ему, как политическому вождю, но как-то своеобразно влюбляются в него. Это относится к людям самых разных калибров и духовных настроений — от такого тонко вибрирующего огромного таланта, как Горький, до какого-нибудь косолапого мужика, явившегося из глубины Пензенской губ., от первоклассных политических умов, вроде Зиновьева, до какого-нибудь солдата и матроса, вчера еще бывших черносотенцами, готовых во всякое время сложить свои буйные головы за «вождя мировой революции — Ильича».

Это фамильярное название «Ильич» привилось так широко, что его повторяют и люди, никогда не видевшие Ленина.

Когда Ленин лежал раненый, как мы опасались, смертельно, никто не выразил наших чувств по отношению к нему лучше, чем Троцкий. В страшных бурях мировых событий, Троцкий, другой вождь русской революции, вовсе не склонный сентиментальничать, сказал: «Когда подумаешь, что Ленин может умереть, то кажется, что все наши жизни бесполезны и перестает хотеться жить».

Вернусь к линии моих воспоминаний о Ленине до великой революции.

В Женеве мы работали вместе с Лениным в редакции журнала «Вперед», потом «Пролетарий». Ленин был очень хорошим товарищем по редакции. Писал он много и легко, как я уже говорил, и относился очень добросовестно к работам своих коллег: часто поправлял их, давал указания и очень радовался всякой талантливой и убедительной статье.

Отношения у нас были самые добрые. Ленин очень скоро оценил меня, как оратора: он чрезвычайно не любит делать какие бы то ни было комплименты, но раза два отзывался с большим одобрением о моей силе слова, и, опираясь на это одобрение, требовал от меня возможно частых выступлений. Некоторые наиболее ответственные выступления он обдумывал со мной заранее.

В первой части нашей жизни в Женеве до января 1905 г. мы отдавались, главным образом, внутренней партийной борьбе. Здесь меня поражало в Ленине глубокое равнодушие ко всяким полемическим стычкам, он не при-

давал большого значения борьбе за заграничную аудиторию, которая в большинстве своем была на стороне меньшевиков. На разные торжественные дискусии он не являлся и мне не особенно это советовал. Предпочитал, чтобы я выступал с большими цельными рефератами.

В отношении его к противникам не чувствовалось никакого озлобления, но тем не менее он был жестоким политическим противником, пользовался каждым их промахом, раздувал всякие намеки на оппортунизм, в чем была, впрочем, доля правды, потому что позднее меньшевики и сами раздули все тогдашние свои искры в достаточно оппортунистическое пламя. На интриги он не пускался, но в политической борьбе пускал в ход всякое оружие, кроме грязного. Надо сказать, что подобным же образом, вели себя и меньшевики. Отношения наши были довольно таки испорчены, и мало кому из политических противников удалось в то же время сохранить сколько-нибудь человеческие личные отношения. Особенно отравил отношения меньшевиков к нам Дан. Дана Ленин всегда очень не любил, Мартова же любил и любит, но считал и считает его политически несколько безвольным и теряющим за тонкою политическою мыслью общие ее контуры.

С наступлением революционных событий, дело сильно изменилось. Во-первых, мы стали получать как бы моральное преимущество перед меньшевиками. Меньшевики к этому времени уже определенно повернули к лозунгу: толкать вперед буржуазию и стремиться к конституции или, в крайнем случае, демократической республике. Наша, как утверждали меньшевики, революционно-техническая точка зрения увлекала даже значительную часть эмигрантской публики, в особенности молодежь.

Мы почувствовали живую почву под ногами. Ленин в то время был великолепен. С величайшим увлечением развертывал он перспективы дальнейшей беспощадной революционной борьбы и страстно стремился в Россию.

Но тут я уехал в Италию, в виду нездоровья и усталости, и с Лениным поддерживал только письменные сношения, большею частью делового политического характера, поскольку дело шло о газете.

Встретился я с ним уже затем в Петербурге. Я должен сказать, что как раз петербургский период деятельности Ленина в 1905—1906 гг., кажется, мне сравнительно сла-

бым. Конечно, он и тут писал не мало блестящих статей и оставался политическим руководителем самой активной в политическом отношении партии—большевиков.

Лично я все время зорко присматривался к нему, ибо в то время стал внимательно изучать по хорошим источникам биографии Кромвеля, Дантона. Стараясь вникнуть в психологию революционных «вождей», я прикладывал Ленина к этим фигурам и мне казалось, что Ленин вряд ли представил бы собой настоящего революционного вождя, каким он мне рисовался. Мне стало казаться, что эмигрантская жизнь несколько измельчила Ленина, что внутренняя партийная борьба с меньшевиками заслоняет для него грандиозную борьбу с монархией, и что он в большей мере журналист, чем настоящий вождь.

Мне было горько слышать, что дискуссии с меньшевиками, какие-то попытки провести определенные межи имели место даже в то время, когда Москва изнемогала от неудачного вооруженного восстания.

К тому же Ленин, опасаясь ареста, крайне редко выступал, как оратор; насколько помню, один только раз—под фамилией Карпова, причем был узнан и ему была устроена грандиозная овация. Работал он, главным образом, в углу, почти исключительно пером и на разных совещаниях главных штабов отдельных партий.

Словом, Ленин, как мне казалось, продолжал вести борьбу немного в заграничном масштабе; она не вылилась в тех довольно таки грандиозных границах, в какие вылилась к тому времени революция. В моих глазах он, всетаки, являлся самым крупным из русских вождей, и я начал бояться, что у революции нет настоящего гениального вождя.

Говорить о Носаре-Хрусталеве было, конечно, смешно. Мы все понимали, что этот внезапно вынырнувший «вождь» не имеет никакого будущего. Больше всего шума и блеска было вокруг Троцкого, но в то время мы все еще относились к Троцкому, как к очень способному и несколько театральному самовлюбленному трибуну, а не как к серьезному политическому деятелю.

Дан и Мартов чрезвычайно старались вести борьбу исключительно в самых недрах петербургского рабочего класса и опять таки с нами, большевиками.

Я и теперь считаю, что революция 1905—1906 гг. застала нас как-то врасплох и что у нас не было настоящего политического навыка. Это позднейшая думская работа, позднейшая работа наша, как эмигрантов, над углублением в себе реальных политиков, над задачами широкой государственной деятельности, в возвращении которой мы были более или менее уверены,—дала нам тот внутренний рост, который совершенно изменил самую манеру нашу подходить к революционной задаче, когда история снова вызвала нас. В особенности это относится к Ленину.

Ленина в обстановке финляндской, когда ему приходилось отгрызаться от реакции, я не видел.

Встретились мы с Лениным вновь за границей на Штутгардтском конгрессе. Здесь мы были с ним как-то особенно близки, помимо того, что нам приходилось постоянно совещаться, ибо, как я уже говорил, мне поручена была от имени нашей партии одна из существеннейших работ на С'езде, мы имели здесь и много больших политических бесед, так сказать, интимного характера, мы взвешивали перспективы великой социальной революции. При этом, в общем, Ленин был большим оптимистом, чем я. Я находил, что ход событий будет несколько замедленным, что, повидимому, придется ждать, пока капитализируются и страны Азии, что у капитала есть еще порядочные рессурсы, и что мы разве в старости увидим настоящую социальную революцию. Ленина эти перспективы искренне огорчали. Когда я развивал ему свои доказательства, я заметил настоящую тень грусти на его сильном, умном лице и я понял, как страстно хочется этому человеку еще при своей жизни не только видеть революцию, но и мощно делать ее. Однако, он ничего не утверждал, он был, повидимому, только готов реалистически признать и уклон вниз, и уклон вверх и вести себя соответственно.

Как странно, что немного позднее мы политически разошлись в противоположные стороны. Ленин приспособился ко времени реакции, которую считал длительной, высказался за думскую борьбу, приблизился к меньшевикам, в то время, как я, в особенности увлекаемый моими друзьями, в первую очередь Богдановым, остался на

позиции продолжения чисто революционной линии во что бы то ни стало.

У Ленина оказалось больше политической чуткости, что неудивительно. Ленин имеет в себе черты гениального оппортунизма, то-есть такого оппортунизма, который считается с особым моментом и умеет использовать его в целях общей всегда революционной линии.

Эти черты действительно были и у Дантона, и у Кромвеля.

Отмечу, между прочим, что Ленин всегда очень застенчив и как-то прячется в тень на международных конгрессах: может быть, потому, что он недостаточно верит в свои знания языков, между тем, он хорошо говорит по-немецки, и весьма недурно владеет французским и английским языками. Тем не менее он ограничивает свои публичные выступления на конгрессах несколькими фразами. Мы поручили ему выступить с большою речью об отношении к войне. Отмечу здесь, что при выработке резолюции мы сильно разошлись с резолюцией Бебеля, сдвинув ее далеко налево. Я лично принимал в этом энергичное участие и в резолюции было принято много моих формул.

Плеханов на общем собрании русской фракции настаивал на том, чтобы мы примкнули к бебелевской позиции, на том же настаивал Троцкий, который говорил, что свои резолюции мы могли бы выносить только, если бы были победителями, представляя же собой эмигрантов разгромленной революции, нам надо быть скромными. Ленин с ним отнюдь не согласился. Тезисы, которые в большинстве представляли его и мои пожелания, он взялся защищать в соответственной секции, однако, за несколько часов до своего выступления передал весь материал Розе Люксембург. Роза Люксембург и выступила с весьма блестящей речью, в конце которой предложила нами выработанную резолюцию, весьма серьезно определившую окончательную форму Штутгардтского международного конгресса.

Я очень счастлив, что мне не пришлось, так сказать, в личном соприкосновении пережить нашу длительную политическую ссору с Лениным.

За время этой размолвки я с Лениным совершенно не встречался. Меня очень возмущала политическая беспо-

щадность Ленина, когда она оказалась направленной против нас. Я и сейчас думаю, что очень многое между большевиками и впередовцами создано было просто эмигрантскими недоразумениями и раздражениями, кроме того, конечно, весьма серьезными философскими разногласиями; политически же расходиться нам было нечего, ибо мы представляли только оттенки одной и той же политической мысли.

Богданов был в то время до такой степени раздражен, что предсказал Ленину неминуемый отход от революции и даже доказывал мне и тов. Е. К. Малиновской, что Ленин неизбежно сделается октябристом.

Да, Ленин сделался октябристом, но совсем другого октября!

Я уже рассказал выше мою встречу с Лениным на Копенгагенском конгрессе. Не могу не отметить здесь его чрезвычайно добродушное, в высшей степени дружеское отношение ко мне в Копенгагене. Он прекрасно знал, что я политический противник, но как только оказалось, что мы можем вести общую линию, он сразу отнесся ко мне с величайшим доверием.

Чувствовалось, как рад бы он был восстановить прежние отношения и прежнее единство. Я со своей стороны тоже почувствовал вновь прилив самой горячей симпатии к этой сильной натуре, к этому светлому уму, к этому обаятельному человеку. К сожалению, мои товарищи затормозили в то время процесс сближения и нам пришлось пережить еще не мало довольно горьких столкновений.

И опять-таки эти столкновения не имели отнюдь личного характера, так как Ленин продолжал жить в Париже, а я в Италии, а потом, когда я переехал в Париж, Ленин как раз переселился в немецкую Швейцарию.

В эпоху Циммервальда линия, занятая Лениным, за очень малым исключением, была уже чрезвычайно близка к той, которую занимали мы—впередовцы. Поэтому, когда я вновь встретился с Лениным в Цюрихе—почва была настолько подготовлена, что мы опять стали разговаривать, как ни в чем ни бывало, как старые друзья и союзники.

События, касающиеся нашего переезда в Россию, уже

относятся к истории нынешней революции и будут упомянуты в своем месте.

Прибавлю к этим беглым замечаниям следующее. Мне чрезвычайно часто приходилось работать с Лениным для выработки разного рода резолюций. Обыкновенно это делалось коллективно. Ленин любит в этих случаях общую работу. Недавно мне пришлось вновь участвовать в такой работе при выработке резолюции 8-го С'езда по крестьянскому вопросу.

Сам Ленин чрезвычайно находчив при этом, быстро находит соответственные слова и фразы, взвешивает их с разных концов, иногда отклоняет. Чрезвычайно рад всякой помощи со стороны. Сколько раз удавалось мне найти вполне подходящую формулу: «вот, вот, это у вас хорошо сказанулось, диктуйте-ка»,—говорит в таких случаях Ленин. Если те или другие слова покажутся ему сомнительными, он опять, вперив глаза в пространство, задумывается и говорит: «скажем лучше так». Иногда формулу, предложенную им самим с полной уверенностью, он отменяет, со смехом выслушав меткую критику.

Такая работа под председательством Ленина ведется всегда необыкновенно споро и как-то весело. Не только его собственный ум работает возбужденно, но он возбуждает в высшей степени умы других.

Я не буду ничего прибавлять здесь к этим воспоминаниям и этой характеристике, ибо фигура Ленина, как мне кажется, более всего выразится, насколько это зависит от меня, уже в изложении самих событий революции 1917—1919 годов.

■ ■ ■

ЛЕВ ДАВЫДОВИЧ ТРОЦКИЙ.

Троцкий в истории нашей партии явился несколько неожиданно и сразу с блеском. Насколько я слышал, он начал свою социал-демократическую деятельность, подобно мне, еще с гимназической скамейки, и, кажется, ему не было еще 18 лет, когда он был сослан.

Это случилось, однако, значительно позже первых революционных событий в моей жизни, так как Троцкий на 5 или 6 лет моложе меня. Из ссылки он, кажется, бежал. Во всяком случае, впервые заговорили о нем, когда он явился на 2-й С'езд партии, на тот, на котором произошел раскол. Повидимому, заграничную публику Троцкий поразил своим красноречием, значительным для молодого человека образованием и апломбом. Передавали анекдот, вероятно не верный, но пожалуй характерный, будто бы Вера Ивановна Засулич, со своей обычной экспансивностью, после знакомства с Троцким воскликнула в присутствии Плеханова: «этот юноша несомненно гений», и будто бы Плеханов, уходя с того собрания, сказал кому-то: «я никогда не прощу этого Троцкому». Действительно, Плеханов всегда ненавидел Троцкого,— думается, однако, что не за признание его гением со стороны доброй В. И. Засулич, а за то, что Троцкий с необыкновенной ретивостью атаковал его непосредственно на 2-м С'езде, высказываясь о нем довольно непочтительно. Плеханов в то время считал себя абсолютно неприкосновенным величеством в социал-демократической среде, даже сторонние люди в полемике подходили к нему без шапок, и подобная резвость Троцкого должна была вывести его из себя. Вероятно, в Троцком того времени было много мальчишеского задора. В сущности говоря, очень серь-

ясно к нему не относились по его молодости, но все решительно признавали за ним выдающийся ораторский талант и, конечно, чувствовали, что это не цыпленок, а орленок.

Я встретился с ним сравнительно позднее, именно, в 1905 году, после январских событий. Он приехал тогда, не помню уже откуда, в Женеву, должен был выступить вместе со мною на большом митинге, созванном по поводу этой катастрофы. Троцкий был тогда необыкновенно элегантен, в отличие от всех нас, и очень красив. Эта его элегантность и особенно какая-то небрежная свысока манера говорить с кем бы то ни было—меня очень неприятно поразили. Я с большим недоброжелательством смотрел на этого франта, который, положив ногу на ногу, записывал карандашем конспект того экспромта, который ему пришлось сказать на митинге. Но говорил Троцкий очень хорошо. Выступал он и на международном митинге, где я первый раз в жизни говорил по-французски, а он по-немецки; иностранные языки мешали нам обоим, но кое-как мы вышли из этой беды. Потом, помню, мы были назначены—я от большевиков, а он от меньшевиков, в какую-то комиссию для раздела каких-то общих сумм, и там у Троцкого был сухой и надменный тон. Больше я его до возвращения в Россию после первой революции не встречал. Мало встречал я его и в течение революции: он держался отдельно не только от нас, но и от меньшевиков. Его работа протекала главным образом в Совете рабочих депутатов, и вместе с Парвусом он организовал как бы какую-то отдельную группу, которая издавала очень бойкую, очень хорошо редактированную, маленькую дешевую газету. Я помню, как кто-то сказал при Ленине: «Звезда Хрусталева закатывается и сейчас сильный человек в Совете—Троцкий». Ленин как будто омрачился на мгновенье, а потом сказал: «Что же, Троцкий завоевал это своей неустанной работой и яркой агитацией».

Из меньшевиков Троцкий был тогда ближе всех к нам, но я не помню, участвовал ли он хотя раз в тех довольно длинных переговорах, которые велись между нами и меньшевиками по поводу соглашения. К Стокгольмскому же с'езду он уже был арестован.

Популярность его среди петербургского пролетариата

ко времени ареста была очень велика и еще увеличилась в результате его необыкновенно картинного и героического поведения на суде. Я должен сказать, что Троцкий из всех социал-демократических вождей 1905—1906 гг., несомненно, показал себя, несмотря на свою молодость, наиболее подготовленным, меньше всего на нем было печати некоторой эмигрантской узости, которая, как я уже сказал, мешала в то время даже Ленину; он больше других чувствовал, что такое широкая государственная борьба. И вышел он из революции с наибольшим приобретением в смысле популярности; ни Ленин, ни Мартов не выиграли в сущности ничего. Плеханов очень много проиграл, вследствие появившихся в нем полукадетских тенденций. Троцкий же с этих пор стал в первый ряд.

Во время второй эмиграции Троцкий поселился в Вене, вследствие чего встречи мои с ним были не часты.

Я уже говорил о роли, которую он играл в Штуттгардте: он держался там скромно и нас призывал к тому же, считая нас всех выбитыми, а потому и не могущими импонировать конгрессу.

Затем Троцкий увлекся примиренческой линией и идеей единства партии. Он больше всех хлопотал по этому поводу на разных пленарных заседаниях, и свою газету «Правда» и свою группу он посвятил на $^2/_3$ именно этой работе по совершенно безнадежному об'единению партии.

Единственный успех, которого он в этом отношении добился, был тот пленум, который отбросил от партии ликвидаторов, почти отбросил впередовцев и сшил белыми нитками очень непрочным швом, на некоторое время, ленинцев и мартовцев. Этот Ц. К. отправил, между прочим, в качестве всестороннего надзирателя за Троцким тов. Каменева (кстати его зятя), но между Каменевым и Троцким произошел такой бурный разрыв, что Каменев очень скоро вернулся назад в Париж. Скажу здесь сразу, что Троцкому очень плохо удавалась организация не только партии, но хотя бы небольшой группы. Никаких прямых сторонников у него никогда не было, если он импонировал в партии, то исключительно своей личностью, а то, что он никак не мог уместиться в рамках меньшевиков, заставляло их относиться к нему, как к какому-то практиканту анархисту и крайне их раздражало;

о полном же сближении с большевиками тогда не могло бы быть и речи. Троцкий казался ближе к мартовцам, да и все время держался так.

Огромная властность и какое-то неумение или нежелание быть сколько-нибудь ласковым и внимательным к людям, отсутствие того очарования, которое всегда окружало Ленина, осуждали Троцкого на некоторое одиночество. Подумать только, даже немногие его личные друзья (я говорю, конечно, о политической сфере) превращались в его заклятых врагов; так, например, было с его главным ад'ютантом Семковским, так было потом с его чуть ли не любимым учеником Скобелевым.

Для работы в политических группах Троцкий казался мало приспособленным, вато в океане исторических событий, где совершенно не важны такие личные организации, на первый план выступали положительные стороны Троцкого.

Сблизился я с Троцким во время Копенгагенского С'езда. Явившись туда, Троцкий почему-то посчитал нужным опубликовать в Vorwärts'е статью, в которой он, охаяв огулом все русское представительство, заявил, что оно в сущности никого, кроме эмигрантов, не представляет. Это взбесило и меньшевиков, и большевиков. Плеханов, жгучей ненавистью ненавидевший Троцкого, воспользовался таким обстоятельством и устроил нечто вроде суда над Троцким. Мне казалось это несправедливым, я довольно энергично высказался за Троцкого и вообще способствовал (вместе с Рязановым) тому, что план Плеханова совершенно расстроился... Отчасти поэтому, отчасти, может быть, по более случайным причинам мы стали часто встречаться с Троцким во время конгресса: вместе отдыхали, много беседовали на всякие, главным образом, политические темы, и раз'ехались в довольно приятных отношениях.

Вскоре после Копенгагенского конгресса мы организовали нашу вторую партийную школу в Болонье и пригласили Троцкого приехать к нам для ведения практических занятий по журналистике и для чтения курса, если не ошибаюсь, по парламентской практике германской и австрийской социал-демократии и, кажется, по истории социал-демократической партии в России. Троцкий любезно согласился на это предложение и прожил в Боло-

нье почти месяц. Правда, все это время он вел свою линию и старался столкнуть наших учеников с их крайней левой точки зрения на точку зрения среднюю и примирительную, которую, однако, он лично считал весьма левой. Но эта политическая игра его не имела никакого успеха, зато чрезвычайно талантливые лекции нравились очень ученикам, и вообще в течение всего этого своего пребывания Троцкий был необыкновенно весел, блестящ, чрезвычайно лойялен по отношению к нам и оставил по себе самые лучшие воспоминания. Он оказался одним из самых сильных работников этой нашей второй школы.

Последние встречи мои с Троцким были еще длительнее и еще интимнее. Это относится уже к 1915 году в Париже. Троцкий вошел, как я уже писал, в редакцию «Наше Слово» и тут, конечно, не обошлось без некоторых интриг и неприятностей: кое-кто был испуган таким вхождением,—боялись, что такая сильная личность приберет газету к рукам. Но эта сторона дела была все-таки на самом заднем плане. Гораздо более выпуклыми были отношения Троцкого к Мартову. Нам искренне хотелось действительно на новой почве интернационализма наладить полное об'единение всего нашего фронта от Ленина до Мартова. Я ораторствовал за это самым энергичным образом и был в некоторой мере инициатором лозунга: долой оборонцев, да здравствует единение всех интернационалистов! Троцкий вполне к этому присоединился. Это лежало в давних его мечтах и как бы оправдывало всю его предшествовавшую линию.

С большевиками у нас не было никаких разногласий, по крайней мере, крупных; с меньшевиками же дело шло худо: Троцкий всеми мерами старался убедить Мартова отказаться от связи с оборонцами. Заседания редакции превращались в длиннейшие дискуссии, во время которых Мартов, с изумительной гибкостью ума, почти с каким то софистическим пронырством избегал прямого ответа на то, рвет ли он со своими оборонцами, а Троцкий наступал на него порою очень гневно. Дело дошло до почти абсолютного разрыва между Троцким и Мартовым, к которому, между прочим, как к политическому уму, Троцкий всегда относился с огромным уважением, а вместе с тем между нами, левыми интернационалистами, и мартовской группой.

За это время между мной и Троцким оказалось столько политических точек соприкосновения, что, пожалуй, мы были ближе всего друг к другу; всякие переговоры от его лица, а с ним от лица других редакторов приходилось вести мне. Мы очень часто выступали вместе с ним на разных эмигрантских студенческих собраниях, вместе редактировали различные прокламации, словом, были в самом тесном союзе. И эта линия связала нас так, что именно с этих пор продолжаются наши дружественные отношения. Оговорюсь, однако, что эта близость наша, которой я, конечно, горжусь, базировалась и базируется исключительно на тождественности политической позиции и на подкупающей широкой талантливости Троцкого.

Что касается других сторон духовной жизни Троцкого, то здесь, наоборот, я никак не мог нащупать ни малейшей возможности сближения с ним: к искусству отношение у него холодное, философию он считает вообще третьестепенной, широкие вопросы миросозерцания он как-то обходит, и стало быть многое из того, что является для меня центральным, не находило в нем никогда никакого отклика. Темой наших разговоров была почти исключительно политика. Так это остается и до сих пор.

Я всегда считал Троцкого человеком крупным. Да и кто же может в этом сомневаться? В Париже он уже сильно вырос в моих глазах, как государственный ум, и в дальнейшем рос все больше, не знаю, потому ли, что я лучше его узнавал и он лучше мог показать всю меру своей силы в широком масштабе, который отвела нам история, или потому, что действительно испытание революции и ее задачи реально вырастили его и увеличили размах его крыльев.

Агитационная работа весною 1917 г. относится уже к главной сущности моей книги, но я должен сказать, что под влиянием ее огромного размаха и ослепительного успеха некоторые близкие Троцкому люди даже склонны были видеть в нем подлинного вождя русской революции. Так, покойный М. С. Урицкий, относившийся к Троцкому с великим уважением, говорил как-то мне и, кажется, Мануильскому: «Вот пришла великая революция и чувствуется, что как ни умен Ленин, а начинает тускнеть рядом с гением Троцкого». Эта оценка оказа-

лась неверной не потому, что она преувеличивала дарования и мощь Троцкого, а потому, что в то время еще неясны были размеры государственного гения Ленина. Но действительно, в тот период, после первого громового успеха его приезда в Россию и перед июльскими днями Ленин несколько стушевался, не очень часто выступал, не очень много писал, а руководил, главным образом, организационной работой в лагере большевиков, между тем, как Троцкий гремел в Петрограде на митингах.

Главными внешними дарованиями Троцкого являются его ораторский дар и его писательский талант. Я считаю Троцкого едва ли не самым крупным оратором нашего времени. Я слышал на своем веку всяких крупнейших парламентских и народных трибунов социализма и очень много знаменитых ораторов буржуазного мира и затруднился бы назвать кого-либо из них, кроме Жореса (Бебеля я слышал только стариком), которого я мог бы поставить рядом с Троцким.

Эффектная наружность, красивая широкая жестикуляция, могучий ритм речи, громкий, совершенно не устающий, голос, замечательная складность, литературность фразы, богатство образов, жгучая ирония, парящий пафос, совершенно исключительная, поистине железная по своей ясности, логика—вот достоинства речи Троцкого. Он может говорить лапидарно, бросить несколько необычайно метких стрел и может произносить те величественные политические речи, какие я слыхал до него только от Жореса. Я видел Троцкого говорящим по 2½—3 часа перед совершенно безмолвной, стоящей притом же на ногах, аудиторией, которая, как зачарованная, слушала этот огромный политический трактат. То, что говорил Троцкий, в большинстве случаев было мне знакомо, да притом же, конечно, всякому агитатору приходится очень много своих мыслей повторять вновь и вновь перед новыми массами, но Троцкий одну и ту же идею каждый раз преподносит в новом одеянии. Я не знаю, много ли говорит теперь Троцкий в качестве военного министра великой державы,—очень вероятно, что организационная работа и неутомимые раз'езды по всему необ'ятному фронту отвлекли его от ораторства, но все же, прежде всего, Троцкий—великий агитатор. Его статьи и книги пред-

ставляют собой, так сказать, застывшую речь,—он литературен в своем ораторстве и оратор в своей литературе.

Поэтому ясно, что и публицист Троцкий выдающийся, хотя, конечно, часто очарование, которое придает его речи непосредственное исполнение, теряется у писателя.

Что касается внутренней структуры Троцкого, как вождя, то, как я уже сказал, он, в малом масштабе партийной организации, которая, однако, страшно сказалась в будущем, так как ведь именно результаты работы в подполье таких людей, как Ленин, как Чернов, как Мартов, дали потом партиям возможность оспаривать гегемонию в России и возможность оспаривать ее в мире,—был не искусен, несчастлив. Я не знаю вообще, может ли быть Троцкий хорошим организатором. Мне кажется, что и в роли военного министра он должен действовать больше, как агитатор и политический ум, чем как организатор в собственном смысле слова. Мешает же крайняя определенность граней его личности.

Троцкий человек колючий, нетерпимый, повелительный, и я представляю себе, а очень часто и знаю, что отсюда возникает и сейчас не мало трений и столкновений, которые при более уживчивом характере могли бы быть вполне избегнуты.

Зато, как политический муж совета, Троцкий стоит на той же высоте, что и в ораторском отношении. Да и как иначе—самый искусный оратор, речь которого не освещается мыслью, не более, как праздный виртуоз, и все его ораторство—кимвал бряцающий. Любовь, о которой говорит апостол Павел, может быть и не так нужна для оратора, ибо он может быть исполнен и ненавистью, но мысль нужна необходимо. Великим оратором может быть только великий политик. Так как Троцкий по преимуществу оратор политический, то, конечно, в речах его сказывается именно политическая мысль.

Мне кажется, что Троцкий несравненно более ортодоксален, чем Ленин, хотя многим это покажется странным; политический путь Троцкого как будто несколько извилист, он не был ни меньшевиком, ни большевиком, искал средних путей, потом влил свой ручей в большевистскую реку, а между тем, на самом деле, Троцкий всегда руководился, можно сказать, буквою революционного марксизма. Ленин чувствует себя творцом и хозяином в

области политической мысли и очень часто давал совершенно новые лозунги, которые нас всех ошарашивали, которые казались нам дикостью и которые потом давали богатейшие результаты. Троцкий такою смелостью мысли не отличается: он берет революционный марксизм, делает из него все выводы, применительные к данной ситуации; он бесконечно смел в своем суждении против либерализма, против полусоциализма, но не в каком-нибудь новаторстве.

Ленин в то же время гораздо более оппортунист в самом глубоком смысле слова. Опять странно,—разве Троцкий не был в лагере меньшевиков, этих заведомых оппортунистов? Но оппортунизм меньшевиков—это просто политическая дряблость мелко-буржуазной партии. Я говорю не о нем, я говорю о том чувстве действительности, которая заставляет порою менять тактику, о той огромной чуткости к вопросу времени, которая побуждает Ленина то заострять оба лезвия своего меча, то вложить его в ножны.

Троцкий менее способен на это, Троцкий прокладывает свой революционный путь прямолинейно. Эти особенности сказываются в знаменитом столкновении обоих вождей великой русской революции по поводу Брестского мира.

О Троцком принято говорить, что он честолюбив. Это, конечно, совершенный вздор. Я помню одну очень значительную фразу, сказанную Троцким по поводу принятия Черновым министерского портфеля: «Какое низменное честолюбие—за портфель, принятый в неудачное время, покинуть свою историческую позицию». Мне кажется в этом весь Троцкий. В нем нет ни капли тщеславия, он совершенно не дорожит никакими титулами и никакой внешней властностью; ему бесконечно дорога, и в этом он честолюбив, его историческая роль. Здесь он, пожалуй, личник, как и в своем естественном властолюбии.

Ленин тоже нисколько не честолюбив, еще гораздо меньше Троцкого; я думаю, что Ленин никогда не оглядывается на себя, никогда не смотрится в историческое зеркало, никогда не думает даже о том, что о нем скажет потомство,—он просто делает свое дело. Он делает это дело властно, и не потому, что власть для него сладостна, а потому, что он уверен в своей правоте и не может тер-

нет, чтобы кто-нибудь портил его работу. Его властолюбие вытекает из его огромной уверенности в правильности своих принципов и, пожалуй, из неспособности (очень полезной для политического вождя) становиться на точку зрения противника.

Спор никогда не является для него просто дискуссией, это для него столкновение разных классов, равных групп, так сказать, разных человеческих пород. Спор для него всегда борьба, которая при благоприятных условиях может перейти в бой. Ленин готов приветствовать, когда спор переходит в бой.

В отличие от него Троцкий, несомненно, часто оглядывается на себя. Троцкий чрезвычайно дорожит своей исторической ролью и готов был бы, вероятно, принести какие угодно личные жертвы, конечно, не исключая вовсе и самой тяжелой из них—жертвы своей жизнью, для того, чтобы остаться в памяти человечества в ореоле трагического революционного вождя. Властолюбие его носит тот же характер, что и у Ленина, с тою разницей, что он чаще способен ошибаться, не обладая почти непогрешимым инстинктом Ленина, и что, будучи человеком вспыльчивым и по темпераменту своему холериком, он способен, конечно, хотя бы и временно, быть ослепленным своей страстью, между тем, как Ленин, ровный и всегда владеющий собою, вряд ли может, хотя когда-нибудь, впасть в раздражение.

Не надо думать, однако, что второй великий вождь русской революции во всем уступает своему коллеге; есть стороны, в которых Троцкий бесспорно превосходит его: он более блестящ, он более ярок, он более подвижен. Ленин, как нельзя более приспособлен к тому, чтобы, сидя на председательском кресле Совнаркома, гениально руководить мировой революцией, но, конечно, не мог бы справиться с титанической задачей, которую взвалил на свои плечи Троцкий, с этими молниеносными переездами с места на место, этими горячечными речами, этими фанфарами тут же отдаваемых распоряжений, этою ролью постоянного электризатора то в том, то в другом месте ослабевающей армии. Нет человека, который мог бы заменить в этом отношении Троцкого.

Когда происходит истинно великая революция, то великий народ всегда находит на всякую роль подходящего

актера, и одним из признаков величия нашей революции является, что коммунистическая партия выдвинула из своих недр или позаимствовала из других партий, крепко внедрив их в свое тело, столько выдающихся людей, как нельзя более подходящих к той или другой государственной функции.

Более же всего сливаются со своими ролями именно два сильнейших среди сильных—Ленин и Троцкий.

■ ■ ■

ГРИГОРИЙ ОВСЕЕВИЧ ЗИНОВЬЕВ (РАДОМЫСЛЬСКИЙ).

По приезде моем в Женеву в 1904 г. я, как писал уже, вступил в число редакторов центрального органа большевистской части партии. Мы деятельно занимались в то время подысканием агентов и устройством ячеек по возможности во всех колониях студентов-эмигрантов. Здесь выяснилось, что дело это было не из легких, всюду было громадное засилие меньшевиков. К тому же с меньшевиками рука об руку шли многочисленные бундисты и другие национальные социалистические группы. Нас не поддерживал никто, мы были наиболее отдаленной от всех, наименее уживчивой партией. С этой точки зрения приходилось дорожить каждым союзником. Из Берна мы получили довольно восторженное письмо с предложением услуг, подписанное «Казаков и Радомысльский».

Когда я приехал в Берн прочесть там лекцию, я, прежде всего, конечно, познакомился с этими бернскими большевиками. В то время более ярким казался Казаков. Позднее он играл некоторую роль в истории нашей партии под фамилией Свиягин. Он работал в Кронштадте, был в ссылке и, кажется, на каторге. В заключение поступил во французскую армию во время войны и был там убит. Радомысльский же не показался мне сразу особенно обещающим. Это был несколько тучный молодой человек, бледный и болезненный, страдающий одышкой и, как мне показалось, слишком флегматичный. Говорливый Казаков не давал ему произнести ни одного слова. Тем не менее, после того, как у нас завязались постоянные сношения, мы убедились в том, что Радомысльский па-

рень дельный, к Казакову же установились отношения немножко, как к черезчур бойкому разговорщику.

Когда я приехал в Петербург после революции, я узнал, что Радомысльский, под именем Григория, работает в василеостровском районе и работает очень хорошо, что он является кандидатом в Петербургский комитет, в который, если не ошибаюсь, он очень скоро после моего приезда и вошел. Такие хорошие отзывы о нашем молодом швейцарском студенте мне были очень приятны. Скоро я встретился с ним вновь лично и, между прочим, по его просьбе редактировал целый ряд его переводов. Эти переводы на русский язык (самый большой из них «История французской революции» Блоса) считаются очень плохими, и меня часто упрекали за небрежную редакцию переводов Зиновьева (они уже в то время помечены этой фамилией). Между тем, в плохом переводе не виноват ни он, ни я. Переводы из-под моей редакции вышли ухудшенными, но, повторяю, не по моей вине. Дело в том, что я делал поправки моим неразборчивым почерком, надеясь, что те ошибки, которые будут сделаны при наборе—будут мною вновь выправлены по корректуре; между тем, я попал в тюрьму, и книжка вышла с моими поправками, неправильно, отчасти нелепо, прочитанными. Но это сотрудничество в переводном деле было, конечно, совершенно второстепенным,—нас обоих в то время увлекала политическая ситуация.

На каком-то большом диспуте во время бурной выборной кампании к Стокгольмскому об'единенному с'езду мы выступили вместе с Зиновьевым для защиты нашей линии. Здесь я впервые услышал его, как митингового оратора. Я сразу оценил его и несколько удивился: обычно такой спокойный и рыхлый, он зажигался во время речи и говорил с большим нервным под'емом. У него оказался огромный голос тенорового тембра, чрезвычайно звонкий. Уже тогда для меня было ясно, что этот голос может доминировать над тысячами слушателей. К таким замечательным внешним данным уже тогда явным образом присоединялась легкость и плавность речи, которые, как я знаю, вытекают из известной находчивости и замечательной логики, проистекающие от умения обнимать свою речь в целом, и из-за частности не упускать основной линии. Все эти достоинства оратора развились потом у тов.

Зиновьева планомерно и сделали его тем замечательным мастером слова, каким мы его теперь знаем. Конечно, Зиновьев не может в своих речах быть таким богатым часто совершенно новыми точками зрения, как истинный вождь всей революции—Ленин, он, резумеется, уступает в картинной мощи, которая отличает Троцкого. Но за исключением этих двух ораторов Зиновьев не уступает никому. Я не знаю ни одного эсера, или меньшевика, вообще ни одного политического оратора в России, который мог бы стоять на одном с ним уровне (опять таки, кроме Троцкого), как оратора массового, оратора для площади, или для огромного собрания.

Зиновьев, как публицист, отличается теми же достоинствами, что и Зиновьев оратор, то есть, ясностью и общедоступностью мысли и гладким легким стилем, но, конечно, то, что делает Зиновьева особенно драгоценным в качестве трибуна—его необыкновенный, неутомимый и доминирующий над каким угодно шумом голос—здесь отпадает.

Я не думаю, однако, чтобы Зиновьев обязан был тем высоким местом, которое он занял в нашей партии еще задолго до революции, и той исторической ролью, которую он играет теперь—только, или, главным образом, своим дарованиям трибуна и публициста.

Очень рано уже Ленин стал опираться на него не только, как на испытанного политического друга, действительно целиком заполненного духом Владимира Ильича, но и как на человека, глубоко понявшего суть большевизма и обладающего в высшей степени ясной политической головой. Зиновьев, несомненно, один из мужей совета нашего Ц. К., я скажу прямо один из тех 4—5 человек, которые представляют по преимуществу политический мозг партии.

Сам по себе Зиновьев человек чрезвычайно гуманный и исключительно добрый, высоко интеллигентный, но он словно немножко стыдится таких своих свойств и готов заключиться в броню революционной твердости, иногда, может быть, даже чрезмерной.

Но в главной части моих мемуаров мне придется многократно касаться нашей совместной работы в течение почти года, в который он был председателем Совета Комиссаров союза северных коммун, а я комиссаром про-

свещения этих коммун, оставаясь вместе с тем и Народным комиссаром. Сейчас упомяну только о том промежутке времени, который отделял новую революцию от старой.

Зиновьев выступал всегда верным оруженосцем Ленина и шел за ним повсюду. У меньшевиков установилось немножко пренебрежительное отношение к Зиновьеву, именно, как к преданному оруженосцу. Может быть, это отношение меньшевиков заразило и нас, впередовцев. Мы знали, что Зиновьев—превосходный работник, но как политический мыслитель он был нам мало известен, и мы тоже часто говорили о том, что он идет за Лениным, как нитка за иголкой.

В первый раз я услышал совсем другое суждение о Зиновьеве от Рязанова. Встретившись с Рязановым в Цюрихе, где жил и Зиновьев, я как-то разговорился с ним о разных наших передовых людях и тут Рязанов сказал мне, что часто встречается с Зиновьевым: «он колоссально много работает, работает усердно и с толком и в настоящее время в смысле уровня своей экономической и общесоциологической образованности далеко превзошел большинство меньшевиков, а, пожалуй, даже всех их». Эта аттестация от такого эрудита и бесспорно ученнейшего человека нашей партии, как Рязанов, была опять таки очень приятной неожиданностью для меня.

Когда я окончательно примкнул к главному руслу большевизма, я обратился именно к Зиновьеву в Цюрих. Мы скоро припомнили наши прежние, крайне добрые отношения и сговорились о политическом союзе буквально в полчаса.

В остальном мои отношения к этому замечательному человеку уже входят более или менее в историю великой русской революции.

■ ■ ■

ЛЕВ БОРИСОВИЧ КАМЕНЕВ (РОЗЕНФЕЛЬД).

Мне пришлось неоднократно упоминать фамилию Каменева в первой главе этих воспоминаний. Встретился я с ним уже довольно давно, до первой революции, в период борьбы большевизма за самоопределение. Тогда Каменев был очень молод, ему было, помнится, не многим более 20 лет. Он состоял тогда правой рукой при Богданове и числился одним из самых многообещающих молодых большевиков. Помимо нашей общеполитической работы нас сразу соединило и многое другое, например, большая любовь Каменева к литературе, его сердечная мягкость и значительная широта взглядов, которая выгодно отличала его даже от самых крупных работников социалистического движения.

Уже тогда можно было с уверенностью сказать, что Каменев будет хорошо владеть словом, и, действительно,—из него выработался интересный оратор, берущий. главным образом, простой убедительностью своей речи, при очень хорошей ораторской технике, позволяющей ему говорить на больших собраниях в течение долгого времени, прекрасно владея собою даже в самых трудных случаях.

Я думаю, однако, что настоящее призвание Каменева не столько ораторское, сколько писательское. Я очень сожалею, что в настоящее время большое строительное государственное дело вынуло перо из рук Каменева.

Как публицист, как газетный работник, как литературный критик, Каменев играл заметную роль вообще в русской литературе и очень большую в нашем больше-

вистском кругу. Его статьи в «Правде» и в нелегальной большевистской литературе шли непосредственно вслед за Ленинскими, по какой-то простой меткости их слога и их внутреннего строения, а в то же время его критические этюды бывали иногда изысканны, может быть, даже несколько чрезмерно. Они всегда очень остроумны, определенны в своей главной мысли и изящны по внешности.

Я знаю, что тов. Каменева всегда влечет к работе в области теории и истории литературы, к перу.

В той железной среде, в которой приходилось развертываться политическому дарованию Каменева, он считался сравнительно мягким человеком, поскольку дело идет об его замечательной душевной доброте. Упрек этот превращается скорее в похвалу, но, быть может, верно и то, что сравнительно с такими людьми, как Ленин или Троцкий, Свердлов и им подобные, Каменев казался слишком интеллигентом, испытывал на себе различные влияния, колебался.

Главным образом, все это относится, конечно, к началу истории нашей великой революции,—о чем в своем месте. Но я повторяю и утверждаю, что эта мягкость Каменева понятие весьма относительное и что по сравнению с политиками правого крыла социализма он представляет собою человека огромной выдержанности и спокойной уверенности. В самые трудные минуты он не терялся и с большим достоинством и сдержанностью проводит намеченную линию точно, твердо.

Пожалуй, это спокойствие и эта рассудительность во всем, что касается дела, является даже своего рода отличительной чертой Каменева, как политического борца, это заставляет всех считаться с ним, как с замечательным мужем совета и в Ц. К. Партии Каменев всегда имел и будет иметь очень большой вес. Вне деловых отношений он обладает многими очаровательными чертами: прежде всего задушевной веселостью, большим живым интересом ко всем сторонам культурной жизни и редкой сердечностью в личных отношениях.

С периода времени до революции 1905 года я встречал Каменева сравнительно редко, например, на 3-ем С'езде Партии. Он работал целиком в России, я все вре-

мя за границей. Встретились мы и сошлись ближе, чем прежде, в Петрограде во время революции. Как теперь, так и тогда мы часто находили время под гром и бурю политических событий делиться мыслями об искусстве, о философии. Взгляды наши, в особенности, в философии были чрезвычайно близки. Одно время Каменев даже делал мне честь считать себя чем-то вроде моего ученика.

Раскол среди большевиков, последовавший после поражения первой революции, болезненно отозвался на наших отношениях. Именно, принимая во внимание известную духовную близость с Каменевым, я не мог не огорчиться тем, что по поручению Ц. К. Ленинской части нашей партии он разразился по поводу моей книги «Религия и Социализм» и некоторых моих статей, относившихся к тому же периоду, весьма резкой, несправедливой полемической статьей. Я знаю, что политика вообще сурова и временами мало приглядна, что в политической борьбе беспощадность является чем-то „само собой разумеющимся. Но мне казалось, что подобную роль изобличения моих «ересей» мог бы взять человек философски более далекий от моих воззрений, по крайней мере, в недалеком прошлом.

В то время, как отношения мои к Ленину в сущности говоря не портились ни на одну минуту и вражда наша держалась целиком в плоскости политической, к Каменеву, в виду этого его неожиданного подозрения, я чрезвычайно охладел.

Я, разумеется, сожалею об этом, не то, чтобы я считал себя не правым, но жалко, что подобные временные недоразумения (кто бы ни был в них виноват) заставляют нас терять время и не давать друг другу все то, что мы можем дать.

В период времени от первой революции до второй Каменев пережил большие передряги, так как пробовал работать в России и, как известно, поплатился за это. Вообще, будучи одним из трех руководителей правой, Ленинской, части нашей партии, он, быть может, больше, чем другие, пережил всевозможных приключений, играя более внешнюю и более подвижную роль в главном штабе большевизма.

Деятельность его была более или менее на виду. Я же лично мало осведомлен о той ее части, которая осталась конспиративной, поэтому обо всем этом периоде мне нечего сказать.

Встретился я с Каменевым только во время нынешней революции, о чем расскажу в своем месте.

■ ■ ■

ЮЛИЙ ОСИПОВИЧ МАРТОВ (ЦЕДЕРБАУМ).

Как я уже писал, я первый раз я услышал о Мартове, как об одном из неотделимых лиц троицы: Ленин, Мартов, Потресов.

Это были три русских социал-демократа, которые влили новые соки в заграничный социал-демократический генеральный штаб, которые создали и поддерживали «Искру».

Когда я приехал в Париж по пути в Женеву, где должен был войти в центральную редакцию большевиков, то я встретил там связанную со мною свойством О. Н. Черносвитову, хорошую знакомую Мартова. Она с большим восторгом отзывалась о нем, как о человеке невероятно увлекательном по широте своих интересов.

«Я уверена,—говорила она мне,—что вы очень близко сойдетесь с Мартовым; он не похож на всех социал-демократов, которые все узковаты и фанатичны. Мартов обладает умом широким и гибким и ничто человеческое ему не чуждо». Такая характеристика действительно очень расположила меня к Мартову. Однако, между нами уже лежала в то время политическая рознь. Встреча моя с Мартовым была как нельзя менее удачна. Товарищи меньшевики затеяли какой-то мелкий неприятный скандал на одном из моих рефератов, кричали, волновались, старались сорвать собрание. Тут же произошло какое-то острое столкновение между Мартовым и моей женой, в которое вмешался Лядов, а потом я, и мы наговорили друг другу каких-то резкостей.

Несмотря на столь неприятное столкновение, отношения наши никогда не были очень враждебны. Во время

пребывания моего в Швейцарии мы встречались редко и вообще большевики и меньшевики жили совершенно врозь. Встречались, можно сказать, только на поле битвы, т.-е. на митингах и дискуссиях, но мы, конечно, постоянно слыхали друг о друге. Я привык относиться к Мартову, как к симпатичному богемскому типу, по внешности чему-то вроде вечного студента, по нравам— завсегдатая кафе, небрежному ко всем условиям комфорта, книгочию, постоянному спорщику и немножко чудаку.

Это впечатление, если говорить именно о внешнем очерке натуры Мартова, оказалось совпадающим с истиной, когда я гораздо короче познакомился с ним. Как писателя и как оратора, я мог более или менее полно оценить Мартова и в Швейцарии.

С внешней стороны Мартов читал свои рефераты скучно, у него слабый голос, своеобразная манера глухо отрубать, откусывать отдельные фразы и вся его бессильная фигура с несколько свисшими с крупного носа стеклами пенснэ казалась столь типично интеллигентской и теоретичной, что о зажигательном действии его, как трибуна, не могло быть и речи. Бывало даже так, что когда Мартов выступал утомленным, его голос становился совсем мало разборчивым и речь делалась убийственно скучной. А между тем Мартов редко умеет говорить коротко, ему нужно, так сказать, ораторски разложить локти на кафедру. Это делает подчас его выступления серыми и монотонными, несмотря на то, что они никогда не бывают пусты.

Если следить за мыслью Мартова даже во время самых скучных его докладов, то и тогда можно вынести нечто обогащающее. Но у него бывают и чрезвычайно удачные моменты. Больше всего загорается он в непосредственной полемике, и поэтому Мартов сильней всего, как импровизатор, во время реплик своим противникам после реферата, в последнем слове. Я знаю много мастеров слова, особенно опасных в этом последнем ответе. Едок и блестящ был Плеханов, не брезгавший при этом всеми преимуществами последнего слова, на которое уже нельзя ответить. Умеет как-то расплющивать, резюмировать и презрительно уничтожать, как мелочь, все возражения Владимир Ильич, но вряд ли кто-нибудь в этом отноше-

лии превосходит Мартова. Если Мартов имеет последнее слово, вы не можете чувствовать себя в безопасности, как бы ни были уверены в правоте вашего дела и как бы лично вы ни были хорошо вооружены.

Во-первых, Мартов всегда оживает во время последнего слова, весь переполняется иронией, поднимает до настоящего блеска вспышки своего тонкого ума, умеет расчленить все, что сказал противник, и использовать абсолютно каждый промах и каждый мельчайший уклон. Аналитик он превосходный и если в кольчуге вашей есть какая-нибудь дыра, то вы можете быть уверены, что Мартовский кинжал без промаха ужалит вас именно сюда.

И как оратор, он становится при этом бесконечно оживленней, заставляет смеяться аудиторию, или вызывает в ней ропот негодования. Также бывает с Мартовым, когда он говорит на какую-нибудь особенно волнующую его тему, что часто случалось в трагические дни нашей революции. Некоторые его речи в Петроградском Совете в меньшевистскую эпоху, на отдельных с'ездах меньшевиков и делегатов Совета вообще, главным образом, речи, направлявшиеся направо, были поистине превосходны не только по своему содержанию, но и по пафосу негодования и благородному чувству революционной искренности. Я помню, как Мартов, после произнесения речи за Грима против Церетелли, вызвал даже у Троцкого громовое восклицание: «да здравствует честный революционер Мартов!».

Когда говоришь о таких людях, как Ленин, Троцкий, Зиновьев, то не можешь не отметить большую силу их, как ораторов, чем как писателей, хотя все три эти вождя русской революции являются большими мастерами пера. У Мартова это, конечно, наоборот. Как оратор он имеет успех только вспышками от времени до времени, когда он в ударе, и «непосредственное исполнение» затушевывает под час большую даровитость рисунка речи и глубину мысли. Все это выступает на первый план в статьях Мартова. Стиль Мартова, как писателя, чрезвычайно благороден. Он не любит уснащать свою писанную речь словечками, остротами, украшать ее всякими фигурами и образами. Отдельная страница Мартова не кажется в этом смысле яркой, потому что она не изузорена. Вместе с тем в ней нет той особенной грубоватой простоты, свое-

образной вульгаризации формы без вульгаризации мысли, однако,—в которой силен подлинно народный вождь Ленин. Мартов пишет как будто несколько одноцветным языком, но нервным, подкупающе искренним, облекающим мысль как будто тонкими складками греческого хитона. Именно эта мысль во всех изящных пропорциях своего логического строения выступает на первый план. В сущности говоря, очаровывает не Мартов писатель, а Мартов мыслитель, и заметьте при этом, что Мартов в сущности не способен порождать большую мысль. Говорить о Мартове мыслителе, скажем, сколько-нибудь рядом я уже не говорю с Марксом, но, например, с Каутским—просто невозможно.

В области революционной тактики циклопические сооружения Ленина подавляют своей величиной хитроумные постройки Мартова. Нет, дело не в крупности его лозунгов, не в широте его революционного обхвата, дело именно в необычайной тонкости его аналитического дарования, в умении работать с лупой, чеканить свои мысли. Ум Мартова шлифующий, и его тактические или политические строения всегда имеют характер очень законченной, до полной ясности доведенной обработки избранной им темы.

Политические предпосылки Мартова, конечно, неправильны. Для роли политического вождя у него не хватает темперамента, смелости и широты обхвата. Он теряется на относительных мелочах и поэтому заранее, так сказать, предуставлен к той осмотрительности и осторожности, которая переходит в робость и отравляет революционную душу, придавая ей несносный, у иных обывательский, а у других кабинетный характер. Такие черты кабинетного политика несомненно присущи Мартову. Скажу больше, свой несравненный политический дар и свою убедительную публицистику Мартов большей частью дает на служение не собственным мыслям. Мартов великолепный идейный костюмер, с большим вкусом и как раз по росту кроит и шьет идейное одеяние лозунгов, которые вырабатываются за его спиной более решительными меньшевиками. Ведь и в нерешительности нужна известная решимость. У меньшевиков типичных, коренных, их политическая нерешительность вытекает вовсе не из отсутствия характера личного,—лично они могут

быть людьми чрезвычайно мужественными и властными,— она вытекает из классовых интересов промежуточных групп. Промежуточные группы нерешительны по самому существу своему, историческая судьба толкает их на среднюю линию между непримиримыми классами. Отсюда отсутствие какой бы то ни было героичности в их позиции. Но свои компромиссы люди эти могут проводить иногда с большой решительностью и, так как в период революционный они являются последней надеждой весьма хитрого и все еще влиятельного полюса привилегированных, то и становятся, на манер Носке, порою людьми с железной рукой на службе у своих классовых полувраго в для преодоления своих левых братьев, причем собственная левизна превращается в революционную фразу, служащую ширмой для их, порою, прямо палаческой, работы. Мартов на такую роль не способен, но все узорное шитье, столь присущее стилю Мартова, весь умонаклон его, обращенный на отдельные факты, не могущий перенести тех грубых и резких линий, которые, разрушая всякие геометрические чертежи, прокладывает революционная страсть,—делает его крайне мало приспособленным к работе в титаническом лагере подлинных революционеров.

Эти особенности натуры толкают его неудержимо — хотя он порой барахтается против этого—в лагерь оппортунистов, и тогда костюмерный талант Мартова служит к изготовлению изящных туалетов для составленных из месива произведений ума всякого рода либерданов.

Сколько раз Мартов, влекомый своим подлинно демократическим духом, поднимался почти до заключения союза с левой социал-демократией, но каждый раз его отталкивало от нас то, что он называет грубостью, каждый раз ему претил тот размах, в котором иные находят полное удовлетворение и наслаждение, с которым иные считаются, как с чертой, коренным образом присущей стихийному великому перевороту, но который не вмещает дух Мартова.

И вновь Мартов падал в Либердановское болото, и утонченный ум его опять начинал носиться над этим болотом, украшающим его блуждающим огоньком.

Во время первой революции Мартов ничем не изменил себе и полностью выявил все те черты, которые я старался сейчас обрисовать.

Я не могу сказать, чтобы он играл во время этого первого столкновения народных масс с правительством выдающуюся роль, как настоящий политический вождь, он был тем же превосходным журналистом аналитиком, тем же спорщиком, тем же внутрипартийным тактиком.

Новая эмиграция нанесла Мартову очень тяжелый удар, быть может, никогда колебания Мартова не были так заметны и, вероятно, так мучительны. Правое крыло меньшевизма стало быстро разлагаться, уклоняясь в так называемое ликвидаторство. Мартову не хотелось идти в этот мещанский развал революционного духа. Но ликвидаторы держались за Дана, Дан за Мартова и, как обычно, тяжелый меньшевистский хвост тащил Мартова на дно. Был момент, когда он словно бы заключил союз с Лениным, побуждаемый к тому Троцким и Иннокентием, мечтавшим о создании сильного центра против крайних левых и крайних правых.

Эту линию, как известно, очень сильно поддерживал и Плеханов, но идиллия длилась не долго, правизна одержала верх у Мартова, и вновь началась та же распря между большевиками и меньшевиками.

Мартов жил в то время в Париже. Мне говорили, что он даже стал несколько опускаться, что всегда грозит эмигрантам, политика приобрела слишком мелочный характер, характер мятежной дрязги, а страсть к богеме и жизни кафе начала как будто бы грозить ему упадком его духовных сил. Однако, когда пришла война, Мартов не только встряхнулся, но и занял спервоначала весьма решительную позицию.

Нет никакого сомнения, что интернационалистское крыло во втором интернационале обязано Мартову некоторыми своими успехами. И речами, и статьями, и своим влиянием и связями Мартов сильно поддержал интернационалистов и перетянул почти всех заграничных меньшевиков (за исключением Плехановцев, которые считались до тех пор левыми, а тут сразу рипулись в Антантовский империализм) в лагерь Циммервальда и Кинталя. Правда, в Циммервальде Мартов занял позицию центра и довольно определенно разошелся тут с Ленином и Зиновьевым.

Тем не менее, он стал своим человеком, и вот тут вновь сказалось пагубное шатание Мартова. Я уже достаточно

писал об этом и не стану здесь повторяться. Очень отчетливо понимая весь ужас социалистического оборончества, Мартов, тем не менее, надеялся увлечь за собой самих оборонцев и не решался порвать с ними организационные связи. Это политически погубило Мартова, погубило с морально-политической точки зрения, ибо Мартов мог бы сыграть чрезвычайно блестящую роль подлинного вождя и вдохновителя правой группы внутри коммунистической партии, если бы в то время он направил свою волю по левой стороне водораздела.

В начале революции после приезда Троцкого в Россию, в мае, июне, Ленин мечтал о союзе с Мартовым и понимал, сколько в нем было бы выгоды, но колеблющийся, однако, всегда преобладающий наклон Мартова направо предрешил еще в Париже дальнейшую судьбу его: быть непризнанным ни в сех, ни в тех, и вечно прозябать в качестве более или менее кусательной, более или менее благородной, но всегда бессильной оппозиции.

Этим Мартов сам обесцветил себя и в историю войдет гораздо более бесцветным, чем мог бы по своим политическим дарованиям.

Большая близость с Мартовым создалась у меня в 1915—1916 г. в Швейцарии. Мы были близкими соседями, Мартов часто гостил у моих друзей Кристи, и в это время мы зачастую беседовали не только на политические темы, которые всегда заставляли нас ссориться, но и на темы литературные, вообще культурные. Я мог оценить здесь большой вкус Мартова и действительно значительную широту его подхода к жизни. Я должен сказать, однако, что к этому времени, по крайней мере, Мартов был уже гораздо односторонней, чем я ожидал. Большого полета любви к искусству, большой глубины в интересах философских у него не было. Он все читал, обо всем мог говорить, говорить интересно, умно и порою ново, но все это он делал как-то машинально, душа его при этом отсутствовала,—если в это время получалась газета, то он прекращал всякие разговоры и немедленно в нее углублялся; если даже в это время читалось вслух что-нибудь очень увлекательное, что Мартов сам хвалил и любил—он все же заслонялся газетным листом с какой-то звериной страстью. Настоящее увлечение проявлялось у Мар-

това только в разговорах политических и особенно узко политических, внутрипартийных.

Тем не менее, я не могу не отметить, что в личных отношениях у Мартова проявляется много очаровательных черт. В нем есть большая симпатичность глубоко интеллектуальной натуры, много непосредственности и искренности, так что в целом его близостью невозможно не дорожить, и люди нейтральные в политическом отношении всегда проникаются к нему великим уважением и горячей симпатией. Политические же его союзники относятся к нему, если не с таким горячим обожанием, какое внушает к себе Ленин, то, во всяком случае, с искренней любовью и своеобразным поклонением.

Еще раз скажу, взвешивая все в моей памяти: я с глубокой грустью констатирую, что этот большой человек и большой ум, в силу черт, присущих, правда, самому его душевному типу, не сыграл и десятой доли той благотворной роли, которую мог бы сыграть.

Будущее?—Но что загадывать о будущем. Если коммунистический строй победит и укрепится—быть может, Мартов займет роль лояльной оппозиции справа и окажется, вместе с тем, одним из творческих умов нового мира—этого я, конечно, от души желаю; если же до победы коммунизму предстоят еще перерывы и пробелы, то Мартов или погибнет, потому что он слишком благороден, чтобы молчать в эпоху реакции, или будет безнадежно путаться на задворках революции, как он путается в них сейчас.

■ ■ ■

ОГЛАВЛЕНИЕ.

Введение . . . . . 7— 8
Мое партийное прошлое . . . . . 9—57
Владимир Ильич Ленин . . . . . 58—72
Лев Давыдович Троцкий . . . . . 73—83
Григорий Овсеевич Зиновьев (Радомысльский) . . . . . 84—87
Лев Борисович Каменев (Розенфельд) . . . . . 88—91
Юлий Осипович Мартов (Цедербаум). . . . . 92—99

■ ■ ■

ИЗДАТЕЛЬСТВО З. И. ГРЖЕБИНА

ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮЦИИ.

Хотя путь Русской Революции еще не завершен, но уже настало время положить начало великому труду собирания материалов для будущей истории великого переворота. Мы, современники событий грандиозных, обязаны, не медля, создать, собрать и сохранить документы, рисующие ход исторического движения, работу личностей, и приготовить все материалы для здания, которое возведет будущий историк. Среди этих материалов одно из первых по важности мест должны занять записки, дневники, воспоминания тех людей, которые творили эти события, или тех, которые наблюдали их. Записки видных участников событий будут ценны для построения политической истории переворота, записки честных свидетелей, вдумчиво наблюдавших ход революции, будут незаменимым подспорьем в работах по истории бытовой. Но особенно важна историческая ценность современных записей в том отношении, что они являются единственным источником выяснения жизнеощущения и быта революционной эпохи. Желая посильно содействовать труду собирания материалов, мы ставим задачей в нашей серии собрать именно эти современные дневники, записки, мемуары деятелей и современников революции. Преследуя исторические задачи прежде всего, мы намерены дать в нашей серии место авторам различных политических взглядов—от крайних левых до правых включительно. Только такое полное сочетание материалов даст возможность охватить все жизненное богатство великого исторического переворота.

ИЗДАТЕЛЬСТВО З. И. ГРЖЕБИНА

ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮЦИИ.

ПЕЧАТАЮТСЯ И ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ.

АВИЛОВ, Б. В.—Революция 1917 года.

ДАН, Ф. И.—В дни Революции.

КАМЕНЕВА, О. Д.—В Таврическом и Смольном.

КАМЕНЕВ, Л. Б.—Записки.

КУЗЬМИН-КАРАВАЕВ, К. К.—Воспоминания о Революции 17-го года.

ЛЕВИДОВ, М. Ю.—Записки журналиста.

ЛИБЕР, М. И.—17-ый год.

ЛУНАЧАРСКИЙ, А. В.—Великий переворот (Октябрьская Революция). 4 книги.

МАРТОВ, Ю. О.—До Революции.

МАРТОВ, Ю. О.—Великая Революция.

МСТИСЛАВСКИЙ, С. Д.—Повесть о Революции. 2 книги.

ПОТРЕСОВ, А. Н.—Русская Революция.

СТРОЕВ, В. А.—Воспоминания.

СУХАНОВ, Ник.—Записки о Революции. 8 книг.

ЧЕРНОВ, В. М.—Революция и фронт.

ЧЕРНОВ, В. М.—Записки социалиста-революционера.

ШКЛОВСКИЙ, Викт. Б.—Революция на фронте.

■ ■ ■

ИЗДАТЕЛЬСТВО З. И. ГРЖЕБИНА

БИБЛИОТЕКА „ЖИЗНЬ МИРА"

под редакцией М. Горького, В. А. Десницкого-Строева и А. П. Пинкевича.

Величайшее из чудес, созданных человеком, книга воплощает в себе все знания о жизни мира, всю историю роста мирового разума, весь исторический труд и опыт народов земли,—книга самое мощное орудие дальнейшего развития духовных сил человечества.

Сила и богатство народов не в обилии земли, лесов, скота и ценных руд,—а в количестве и качестве образованных людей, в любви к знанию, в остроте и гибкости разума,—сила народа не в материи, а в энергии.

Русский народ особенно беден духовной энергией, у него слишком мало культурных сил, нет знаний о прошлой жизни мира и о своем историческом прошлом, он не знает, что сделано им в областях технического труда и духовного творчества.

Но именно теперь, когда волею истории вся масса нашего народа призвана к разумному, свободному труду на благо свое,—именно теперь русский народ должен ревностно и любовно приступить к развитию и организации своей духовной энергии, к воспитанию из плоти своей нового человека,—умного, честного, доброго и смелого.

Для этого ему прежде всего необходима книга, в которой воплощена вся мудрость мира, рассказан ход истории всечеловеческого труда и творчества, рост мирового разума, где он увидит, что дали народам Европы победоносные усилия общеевропейской науки, ознакомится с великими заслугами искусства, поймет сказочную силу техники и увидит—наконец—самого себя, свой разум—началом всех начал, источником всех благ.

Вот, в кратких словах, цель, которую ставит пред собой издательство З. И. Гржебина в книжках библиотеки «Жизнь мира»—дать русскому народу массу книг, которые всесторонне осветили бы процесс духовного развития человечества вообще и в частности—России.

ИЗДАТЕЛЬСТВО З. И. ГРЖЕБИНА

В состав библиотеки «Жизнь Мира» войдет ряд серий популярных книг размером от 2 до 5 листов, по такой схеме:

Отдел I.

БИОГРАФИИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ.

В медленном процессе исторического развития русской жизни выделяется и обособляется личность. Изучению ее и будет посвящен первый отдел. В состав ее войдут серии:

I.—Творцы революционной и социалистической мысли: Радищев, Пестель, Чаадаев, Белинский, Петрашевский, Герцен, Бакунин, Добролюбов, Чернышевский, Писарев, Михайловский, Кропоткин, Щапов, Лавров, П. Струве, Плеханов, Ленин и друг.

II.—Люди революционного дела, вожди народных движений: Ермак, Болотников, Степан Разин, Булавин, Пугачев, Декабристы, Перовская, Халтурин, Рысаков, Желябов, поп Гапон, лейтенант Шмидт, деятели февральско-мартовской и октябрьской революций и др.

III.—Творцы искусства—писатели, художники, композиторы, выдающиеся артисты и др.: Державин, Фонвизин, Крылов, Карамзин, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Аксаков, Тургенев, Гончаров, Л. Толстой, Лесков, Некрасов, Достоевский, Г. Успенский, Чехов, Островский, Короленко, Горький, Андреев и др.; Рублев, Ушаков, Левицкий, Боровиковский, Венецианов, Иванов, Брюллов, Федотов, Крамской, Левитан, Репин, Серов, Врубель, Антокольский, Стасов, Дягилев, Ал. Бенуа и др.; Глинка, Бородин, Серов, Рубинштейн, Даргомыжский, Римский-Корсаков, Чайковский, Мусоргский, Скрябин, Глазунов и др.; Дмитревский, Каратыгин, Щепкин, Ермолова, Савина, Станиславский, Шаляпин и др.

IV.—Русские промышленники: Промышленники в Новгороде, купцы Строгановы, купцы Юдины, Демидовы, Морозовы, Савва Морозов, Н. Бугров, С. Мамонтов и др.

V.—Организация русской церкви, ее деятели: Феодосий Печерский, Илларион Киевский, Сергий Радонежский, Варлаам Хутынский, Зосима, Савватий, Иосиф Волоцкий, Нил Сорский, Стефан Пермский, Никон, Аввакум, Денисовы, основатели сект, Золотницкий, Победоносцев и др.

VI.—Историки России: Соловьев, Ключевский, Костомаров, Сергеевич, Голубинский, Милюков, Семевский, Лаппо-Данилевский и др.

VII.—Исследователи языка и словесности: Востоков, Даль, Потебня, Буслаев, Ал-др Веселовский, Котляревский, Гильфердинг и др.

VIII.—Самобытные мыслители-философы: Г. Сковорода, В. Соловьев и др.

IX.—Делатели книги в России: Иван Федоров, Новиков, Смирдин, Солдатенков, Павленков, Сытин и др.

X.—Биографии и монографии, посвященные мировым ученым, как умершим, так и современным. К изданию предположены в первую очередь—Аристотель, Плиний Старший, Альберт Великий, Леонардо да-Винчи как ученый, Галилей, Кеплер, Бэкон, Ньютон, Коперник, Линней, Ламарк, Кювье, Ломоносов, как естествоиспытатель, Дарвин, Пастер, Кюри, Менделеев, Мечников, Павлов, Федоров и др.

XI.—Педагоги—теоретики и практики: Амос Коменский, Фребель, Песталоцци, Лев Толстой, как педагог, Монтессори, Стоюнин, Пирогов и др.

Все эти биографии, посвященные одному лицу или группе родственных по духу и времени деятелей, будут разработаны в тесной связи с развитием той или иной области нашей исторической жизни; каждой русской группе первых девяти серий будут соответствовать на тех же основаниях составленные группы биографий иностранных деятелей.

Отдел II.

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ, ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО.

СЕРИЯ I.

Беллетристика.

Художественная литература. Этой серией издательство хочет идти навстречу нуждам новой школы и многомиллионного демократического читателя из среды рабочих и крестьян, которому недоступны по условиям его трудовой жизни—да и не нужны—«полные собрания» сочинений. Редакция ставит себе задачей взять у каждого писателя наи-

более ценное и яркое. Отдельному автору будут посвящены один или несколько томов—сборников, некоторые произведения будут изданы отдельными книжками, не исключена возможность об'единения «малых» писателей в одном выпуске. При подборе авторов для этой серии издательство прежде всего будет руководствоваться указаниями примерных программ по русской литературе единой трудовой школы. Выпуски этой серии будут снабжены портретами писателей, краткими редакционными статьями и необходимыми примечаниями. Подробные биографические сведения, оценку творчества писателя, указания на научную и критическую литературу читатель найдет в соответственных выпусках первой серии.

Ставя на первом плане задачу снабжения школы необходимыми пособиями, редакция в то же время считает нужным в этой серии издать и такие произведения художественной литературы, которые были в свое время недостаточно правильно оценены критикой и читающей публикой и неосновательно «забыты», а также и такие, в которых наиболее ярко отразились те или иные явления нашей общественности (образование и развитие общественных классов и групп, нарождение новых культурных запросов и т. п.).

Из этой серии прежде всего готовятся к печати избранные произведения русских писателей: Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Некрасова, Тютчева, Державина, Л. Толстого, Гончарова, Островского, Тургенева, Чехова, Короленко, М. Горького, Лескова, Куприна и др.

На ряду с избранными произведениями русской литературы издательство предполагает издать ряд сочинений иностранных писателей.

СЕРИЯ II.

Наука.

В этой серии издательство намерено дать ряд «Введений» в науки, а также специальные монографии по отдельным научным вопросам.

Строго-научная трактовка вопросов в выпусках этой серии будет соединяться с популярностью изложения.

СЕРИЯ III.

Основные вопросы реформы и учебные пособия для новой школы.

Основные вопросы реформы—это вопрос об единстве школы, о главнейших педагогических принципах, положенных в основание школьной реформы. В этой серии будут даны брошюры и книги, посвященные наиболее животрепещущим темам современной педагогической мысли. Одновременно издательство приступает к изданию учебников по литературе и истории.

СЕРИЯ IV.

Записки и мемуары, переписка выдающихся личностей.

В этой серии издательство намерено переиздать бывшие уже в печати книги, а также наметило к изданию ряд новых. В частности, особое внимание будет уделено деятелям русской литературы и общественности.

Отдел III.

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ И ТЕХНИКА.

Задача этого отдела выражена и его названии. Показать человека и человечество в их отношениях к окружающему миру, раз'яснить те завоевания, которые сделал человек в его извечной борьбе с природой, открыть глаза на многое, примелькавшееся и обычное, но тем не менее непонимаемое и таинственное, как в жизни человека, земли, растений и животных, так и технике, этой «второй природе», дать для одних ряд введений в науку и технических руководств, для других сводку новейших знаний, приблизить к широкому читателю науку и ее деятелей, сделав их понятными и близкими,—таковы, в самых общих чертах, цели, поставленные редакцией.

Здесь предлагается выпустить ряд книг, распределенных в нескольких сериях.

Серия первая. Научно-популярные издания, дающие изложение, в доступной для всякого элементарно-образованного человека форме, того или другого вопроса в науке и технике. Это «итоги науки» для более или менее подготовленного читателя.

ИЗДАТЕЛЬСТВО З. И. ГРЖЕБИНА

Книги этой серии предназначаются для лиц, стремящихся дополнить свое образование, а также для руководителей школ, научных кружков, клубов, народных домов и проч.

В первую очередь, намечены книги и брошюры на следующие темы:

Современное положение вопроса об изменчивости и эволюции.
Происхождение человека.
Наследственность.
Инстинкт.
Происхождение жизни.—Витализм и антивитализм.
Внутренняя секреция («Загадочные» органы человека. Кретинизм. Базедова болезнь и т. п.).
Космогонические гипотезы. Происхождение земли и мира.
Земная кора, состояние внутренности земного шара по современным представлениям.
Жизнь почвы.
Время, пространство, эфир.
Вселенная в представлении современных физиков.
Строение вещества. Атомы и молекулы.
Радиоактивность.
Рудные богатства России.
Новейшие успехи в сельском хозяйстве, горном деле, электротехнике, металлургии и др. областях техники.
Географические очерки различных областей России и др.

Серия вторая. Ряд «введений в науку», написанных общедоступным, простым языком, при совершенной элементарности изложения дающих вполне научное освещение той или другой области природы или техники. Книги и брошюры по различным вопросам техники и естествознания для широкого читателя. В этой же серии будут даны руководства, рассчитанные на лиц, технически совершенно не подготовленных.

В этой «народной» серии предположено прежде всего издание следующих книг:

Введение в химию.
Введение в биологию.

Общедоступная ботаника.
Общедоступная геология.
Введение в географию.
Технология различных производств и др.

Серия третья. Новая школа нуждается в новых учебниках, в новых книгах. Издательство предполагает придти на помощь учителю и ученику изданием учебников и пособий для общеобразовательной школы. Издательство намерено также выпустить ряд популярных книг по естествознанию для детей различных возрастов, в первую очередь намечая издание описаний путешествий.

В эту серию войдут учебники для школы по физике, химии, биологии, ботанике, зоологии, геологии и пр.

Серия четвертая. Пособия и руководства для высшей школы.

Серия пятая. В эту серию войдут классические сочинения Дарвина, Менделеева, Сеченова, Кюри, Пастера и друг.

Каждый автор будет представлен его основными сочинениями, редакция которых будет поручена известнейшим специалистам.

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ И ПЕЧАТАЮТСЯ.

ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ.

Лавров—Б. А. Фингерта.
Михайловский—его же.
Щапов—Г. А. Лучинского.
В. Соловьев—В. С. Иофа.
Г. Сковорода—Ф. А. Кудринского.
К. Маркс—В. А. Базарова.
Ф. Энгельс—его же.
Г. Плеханов—его же.
М. Горький—В. Строева.
Г. Лопатин—А. Амфитеатрова.
Сергий Радонежский—его же.
Стефан Пермский—его же.

Франциск Ассизский—Ф. Марголиной.
Н. Лесков—А. Измайлова.
Н. Бугров—М. Горького.
Костомаров—А. Е. Кудрявцева.
Т. Шевченко—В. Ф. Боцяновского.
Мусоргский—А. Н. Римского-Корсакова.
Бородин—его же.
Н. А. Римский Корсаков—его же.
Державин—Г. А. Альмединген.
Карамзин—Б. М. Эйхенбаума.
Ал-др Веселовский—В. Б. Шкловского.
Потебня—его же.
Востоков—С. М. Бонди.
Пирогов—С. Я. Штрайха.
С. Т. Аксаков—А. Г. Горнфельда.
Ж. Занд—Влад. Каренина.
М-м Ролан—Э. Пименовой.
Эро де Сешель—ее же.
Бабеф—ее же.
Желябов—Н. П. Ашешова.
Крылов—К. А. Острогорского.
Ломоносов—акад. В. А. Стеклова.
Лобачевский—его же.
Кеплер—Предтеченского, под ред. акад. В. А. Стеклова.
Эдиссон—Е. И. Замятина.
Роберт Майер—его же.
Братья Ковалевские—В. М. Шимкевича.
Белинский—Н. О. Лернера.
Достоевский—В. В. Гиппиуса.
Лермонтов—его же.
Тютчев— Г. И. Чулкова.
Карл Бэр—Н. А. Холодковского.
Пастер—под ред. С. П. Костычева.
Грибоедов—Н. К. Пиксанова.
Тургенев—его же.
Писарев—Е. Соловьева.
Мочалов—А. Р. Кугеля.
Мольер—Л. Я. Гуревич.
А. Лекуврер—ее же.
Л. Девриен—ее же.
Рашель—ее же.

ОТДЕЛ ВТОРОЙ.

СЕРИЯ ПЕРВАЯ.

Избранные сочинения русских классиков.

БИБЛИОТЕКА „ЖИЗНЬ МИРА“

СЕРИЯ ВТОРАЯ.

Д. Н. Кудрявский. «Как люди жили в старину».
Его же. «Введение в языкознание».
Е. М. Браудо. «Введение в историю музыки».
Г. А. Лучинский. «История Сибири».
Н. А. Рожков. «От самовластия к народовластию».
М. Л. Слонимский. Русские литературные салоны XIX в.

СЕРИЯ ТРЕТЬЯ.

В. А. Десницкий. Трудовая школа.
А. П. Пинкевич. Единая школа.
В. А. Десницкий. Церковь и школа.
Л. П. Якубинский. Первый год изучения литературы в единой трудовой школе.

СЕРИЯ ЧЕТВЕРТАЯ.

«Воспоминания» А. Я. Панаевой-Головачевой, под ред. К. И. Чуковского.
«Воспоминания» И. И. Панаева, под ред. М. Л. Слонимского.
«Записки» А. О. Смирновой, под ред. Н. О. Лернера.
«Сборник воспоминаний о Пушкине», под ред. Н. О. Лернера.
«Воспоминания» декабриста И. Д. Якушкина, под ред. С. Я. Штрайха.
«Воспоминания и литературные очерки» Л. Ф. Пантелеева.
А. Ф. Кони. «Памяти ушедших».

ОТДЕЛ ТРЕТИЙ.

СЕРИЯ ПЕРВАЯ.

Ю. А. Филипченко. Изменчивость и эволюция.
В. М. Шимкевич. О регенерации.
В. М. Шимкевич. Пол и его признаки.
С. П. Костычев. О появлении жизни на земле.
С. П. Костычев. О брожениях.
Д. А. Гольдгаммер. Процессы жизни в «мертвой» природе.
В. М. Бехтерев. Бессмертие с научной точки зрения.
Н. А. Васильев. Введение в психологию.

ИЗДАТЕЛЬСТВО З. И. ГРЖЕБИНА

Н. М. Книпович. Очерки природы и промыслов русских морей. I. Каспийское море.

Н. М. Книпович. Очерки природы и промыслов русских морей. II. Белое море и Северное Ледовитое.

А. А. Борзов. Средне-русская черноземная область.

А. А. Борзов. Юго-западная область России.

С. П. Аржанов. Север России.

Д. Н. Анучин. Япония и японцы.

А. А. Иванов. Современная астрономия.

Д. А. Гольдгаммер. Строение вещества. Атомы и молекулы.

А. Е. Ферсман. Рудные богатства России.

Сборники статей на тему: «Наука и жизнь», «Теория развития», «Сущность жизни» и др.

СЕРИЯ ВТОРАЯ.

А. Н. Бах. Введение в химию.

В. Н. Тонков. Тело человека.

Ю. А. Филипченко. Общедоступная биология.

С. П. Аржанов. Введение в ботанику.

А. П. Пинкевич. Общедоступная геология.

С. П. Аржанов. Введение в географию.

А. А. Иванов. Введение в астрономию.

В. М. Шимкевич. Паразиты человека и животных.

Ю. А. Филипченко. Размножение и развитие в царстве животных.

Н. Н. Качалов. Производство фаянса, фарфора и др.

СЕРИЯ ТРЕТЬЯ.

Н. М. Книпович. Учебник биологии для последнего класса второй ступени.

Г. Н. Боч. Учебник ботаники.

Н. Н. Ефимов. Под редакцией проф. А. П. Пинкевича. Примерные уроки по природоведению.

СЕРИЯ ЧЕТВЕРТАЯ.

Е. Кайзер. Курс геологии. Перев. с немецк., под редакцией проф. А. П. Пинкевича.

СЕРИЯ ПЯТАЯ.

Дарвин. Избранные сочинения.

Некоторые книги наднях выходят в свет.

Тип. „Копейка", Петроград.

ЦЕНА 32 руб.

Цена утверждена Государственным Издательством 5 ноября 1919 г. за № 1838.

Duke University Libraries
D03504436P